

ISSN 0132-1366

АКАДЕМИЯ НАУК
СССР

КОПИРОВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО

Советское
СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

6

1983



ИЗДАТЕЛЬСТВО
• НАУКА •

Советское СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД
НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ

6

1983

СОДЕРЖАНИЕ

Задачи изучения проблематики развитого социализма	3
<i>Гибянский Л. Я.</i> Из истории становления новой Югославии (1941—1943)	6
<i>Парсаданова В.</i> К 40-летию создания Крайовой Рады Народовой в Польше	19
<i>Поп И. И.</i> Советско-чехословацкий договор 1943 года и формирование нового внешнеполитического курса Чехословакии	27
<i>Мизутина И. В.</i> Рабочее движение стран Центральной и Юго-Восточной Европы в борьбе против угрозы фашистской агрессии, за национальный суверенитет	32
<i>Удальцов И.</i> Еще раз к характеристике политической деятельности Франтишка Палацкого (Историографические заметки)	46
<i>Горина Л.</i> Лекции по истории зарубежных славянских народов М. Дринова в Харьковском университете (1873—1906)	58
<i>Будагова Л. Н.</i> Социалистический реализм — диапазон многообразия	67
<i>Илюшин А. А.</i> О силлабическом принципе в стихосложении	72
<i>Глобачев М. О.</i> Творчество Л. Шенвальда в 40-е годы	82
<i>Габовиштякова К.</i> (ЧССР). Источники лексического фонда словацкого литературного языка	92
<i>Дзюндзелевский И. А.</i> И. Н. Вагилевич как редактор словаря С. Б. Линде (К истории украинско-польских научных связей середины XIX в.)	100

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1965
ГОДУ

МОСКВА

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Саливон А. Н.</i> Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья	114
<i>Мокшенок В. М.</i> Чешско-польский фразеологический словарь	113
<i>Дмитриев М. В.</i> Е. И. Федосова. Польский вопрос во внешней политике первой империи во Франции	115
<i>Пуцко В. Г.</i> Новые исследования о памятниках монументальной живописи южных славян	115

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Ляткер Я. А.</i> Международная научная конференция МАИРСК «Славянские культуры и мировой культурный процесс» (28 IX — 1 X 1982, г. Минск)	120
Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале в 1983 г.	125

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. КОСТЮШКО (главный редактор), В. А. ДЬЯКОВ,
 В. В. ЗЕЛЕНИН (зам. главного редактора), В. И. ЗЛЫДНЕВ,
 В. Г. КАРАСЕВ, Д. Ф. МАРКОВ, А. И. НЕДОРЕЗОВ, С. В. НИКОЛЬСКИЙ,
 Ю. А. ПИСАРЕВ, Л. Н. СМИРНОВ, Н. И. ТОЛСТОЙ (зам. главного редактора),
 Я. Б. ШМЕРАЛЬ

Адрес редакции: 121069, Москва, Г-69, Трубниковский пер., д. 30а.

Телефон 290-27-40

Зав. редакцией *Е. В. Пономарёва*



ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМАТИКИ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА

Советское общество, успешно продвигаясь по пути к коммунизму, вступило в исторически длительный этап развитого социализма. В СССР созданы экономическая база, социальная структура и политическая система, соответствующие социалистическим принципам, и социализм стал развиваться на своей собственной, коллективистской основе. Дальнейший прогресс советского общества знаменует собой планомерное и всестороннее совершенствование развитого социализма.

Состоявшийся 14—15 июня 1983 г. Пленум ЦК КПСС рассмотрел актуальные вопросы идеологической, массово-политической работы партии в современных условиях. На Пленуме выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю. В. Андропов. В его речи были отмечены большие достижения советского народа в реализации решений XXVI съезда КПСС и определены дальнейшие задачи партии и народа по совершенствованию общественного производства, социальных отношений, коммунистического воспитания советских людей и связей между социалистическими странами. Содержащиеся в ней положения и выводы имеют принципиальное, программное значение.

«Советское общество,— указывается в постановлении Пленума ЦК КПСС,— вступило в такой этап, когда назрели глубокие качественные изменения в производительных силах и соответствующее этому совершенствование производственных отношений. В тесной взаимосвязи с этим должны происходить изменения в сознании людей, во всей надстройке общества. Усилия партии и народа концентрируются на задачах планомерного и всестороннего совершенствования развитого социализма, реализация которых прямо зависит от уровня сознательности и активности трудящихся. Идеологическая работа все больше выдвигается на первый план, возрастает ее роль и значение» [1].

В решении этих задач большая роль принадлежит общественным наукам.

В последнее время теоретическая мысль КПСС обогатилась важными положениями и выводами: разработана концепция развитого социализма, раскрыты пути повышения эффективности общественного производства в условиях научно-технической революции, обоснована возможность становления бесклассовой структуры общества в рамках первой фазы коммунизма, стали более углубленными представления о содержании национального вопроса, о важнейших тенденциях международной жизни, получило дальнейшее развитие ленинское учение о мире и войне, защите социалистического государства, сделаны и другие обобщения исторического опыта. В своей теоретической деятельности партия опирается на лучшие труды советских обществоведов.

Однако, как отмечалось на Пленуме, исследования в области общественных наук не вполне соответствуют потребностям современного развития советского общества. До сих пор в должной мере не изучено общество, в котором живут и трудятся советские люди, не полностью раскрыты присущие ему закономерности, особенно экономические: не определены наи-

более надлежащие способы повышения эффективности производства и качества продукции, научно обоснованные принципы ценообразования. Вместе с тем продвижение общества вперед ставит все новые и новые проблемы перед наукой.

Поэтому внимание советских обществоведов должно быть сосредоточено прежде всего на изучении проблематики развитого социализма. Задача исследований в этой области заключается в том, чтобы, опираясь на имеющиеся результаты, расширять теоретические знания, углублять представления о важнейших закономерностях прогрессивного развития Советской страны. При этом нельзя толковать развитость, зрелость советского общества как полное его совершенство, идеализировать его, но нельзя и недооценивать достигнутое. Необходимо всестороннее изучение присущих зрелому социализму неантагонистических противоречий в условиях крепнущего социально-политического и идеологического единства советского общества, поскольку в нем, как и в любом социальном организме, идет борьба нового со старым, действуют не только созидательные, но и негативные тенденции. К последним, в частности, относятся местничество, бюрократизм и консерватизм. Надо вскрывать причины этих и подобных явлений и находить средства для их преодоления. Усилия обществоведов должны сосредоточиваться на конструктивных разработках методов и средств достижения ближайших и перспективных целей советского общества.

«Партия и государство,— говорится в постановлении Пленума ЦК КПСС,— ждут от экономистов, философов, историков, социологов, психологов, правоведов разработок надлежащих путей повышения эффективности производства, исследования закономерностей становления бесклассовой структуры общества, интернационализации социальной жизни, развития социалистического народовластия, общественного сознания, проблем коммунистического воспитания. Особенно актуальны такие вопросы, как стимулирование научно-технического прогресса, улучшение системы управления и планирования, обеспечение приоритета общенародных, государственных интересов, совершенствование распределительных отношений, принципы научно обоснованного ценообразования и т. д.» [1]. Глубокое и целенаправленное изучение этих вопросов обогатит знания о развитом социализме и будет иметь важное значение для теоретической и практической деятельности партии по его совершенствованию.

Прогресс советского общества тесно связан с развитием мирового социализма, проходит в сложной международной обстановке. Поэтому также важным является исследование экономических и социально-политических процессов в других социалистических странах, соотношения классовых и политических сил на международной арене. «Надо,— указывается в постановлении Пленума ЦК КПСС,— шире изучать все лучшее в опыте других стран социализма. Необходим глубокий анализ новых явлений в международных отношениях, развитии мирового социализма, в мировом революционном процессе, новых аспектов и сторон общего кризиса капиталистической системы» [1].

Развитие социалистических стран подтвердило, что социализм создает все возможности для уверенного прогресса общества и гармоничных отношений между странами. «Но,— как отметил на Пленуме Ю. В. Андропов,— последние два десятилетия обогатили наши представления о мире социализма, нагляднее показали, как он разнообразен и сложен. Между отдельными социалистическими странами есть большие различия в экономике, культуре, в путях и методах решения задач социалистического развития. Это естественно, даже если нам когда-то и казалось, что оно будет более единообразным» [1]. Опыт социалистических стран в строительстве нового общества и их взаимоотношений имеет большое значение для развития мирового социализма. Внимательное изучение этого опыта, его оценка и обобщение — одна из актуальных задач общественных наук.

Вместе с тем необходимо более глубокое исследование развития стран социалистической ориентации, новых особенностей государственно-монополистического капитализма, классовой борьбы пролетариата, миро-

вого коммунистического и рабочего движения, глобальных проблем современности.

Особое внимание на Пленуме было уделено методологической стороне исследований. Обществоведы при разработке проблематики обязаны последовательно руководствоваться революционной теорией, принципами материалистической диалектики, умело применять марксистско-ленинскую методологию научного поиска. Анализ новых фактов предполагает дополнения и уточнения установившихся взглядов, но не подлежат пересмотру истины и проблемы, решенные прежде и однозначно. Мировоззренческая четкость или методологическая дисциплина мысли является непременным условием успешного развития общественных наук. Исходя из реального положения со всеми его плюсами и минусами, ученые должны полнее раскрывать объективные законы общественного развития, в большей мере ориентироваться на будущее, выявлять назревающие тенденции, работать более оперативно и гибко, чтобы удовлетворять возрастающие запросы советского общества. Научные разработки должны заключать в себе практические рекомендации, давать обоснованные социальные прогнозы.

Осуществление этих задач требует повышения идейно-теоретической работы в области общественных наук, поворота их к новым проблемам, выдвигаемым практикой, жизнью. Общественные науки, важнейшей социальной функцией которых является воспитание нового человека, формирование у советских людей коммунистических убеждений, марксистско-ленинского мировоззрения, призваны сыграть важную роль в совершенствовании идеологической, массово-политической работы в свете решений Пленума ЦК КПСС.

Из решений Пленума ЦК КПСС вытекают и задачи советских ученых, занимающихся изучением исторического и культурного развития европейских социалистических стран на этапе строительства социализма. Исследования в этой области ведутся в академических институтах, высших учебных заведениях Москвы, Киева, Ленинграда, Минска, Львова и других научных центрах страны. Имеется уже немало коллективных и монографических работ, в которых рассматриваются отдельные проблемы строительства социализма в этих странах, формирования и развития социалистического содружества. Однако состояние исследований в этой области не вполне отвечает требованиям, предъявляемым к общественным наукам. Встречаются работы описательного характера, не содержащие новых наблюдений и выводов. Многие важные вопросы социалистического развития стран региона остаются недостаточно изученными или вовсе не исследованными. Оставляет желать лучшего и координация исследований по этой проблематике.

Пленум ЦК КПСС указывает на необходимость глубокого и всестороннего изучения экономического, социально-политического и духовного развития социалистических стран, нового типа их взаимоотношений, анализа и обобщения опыта социалистического содружества, мирового социализма. Исследования, опирающиеся на марксистско-ленинскую методологию, раскрывающие реальности общественного развития в их диалектической связи, обогащая знания о прошлом и представления о будущем, явятся существенным вкладом в теорию и практику социалистического строительства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Правда, 1983, 16 июня.



ГИБИАНСКИЙ Л. Я.

ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ НОВОЙ ЮГОСЛАВИИ (1941—1943)

Революция, развернувшаяся в ходе организованной и возглавленной Коммунистической партией Югославии (КПЮ) народно-освободительной войны 1941—1945 гг. против фашистских захватчиков, привела к созданию новой Югославии, которая в обстановке разгрома фашизма вступила на путь социалистического развития. Югославская революция представляла собой протяженный процесс, в основном протекавший в рамках народно-освободительной войны, а частично — вслед за ее окончанием. По мере поступательного движения революции, нарастания ее масштабов, интенсивности и неуклонного углубления ее непосредственного социального содержания происходило постепенное зарождение, складывание, оформление и утверждение новой Югославии. Одним из важнейших этапов этого процесса явился период 1941—1943 гг. Его исходным рубежом было вспыхнувшее летом 1941 г. под руководством КПЮ вооруженное восстание против оккупантов, положившее начало четырехлетней народно-освободительной войне, которая почти сразу стала приобретать революционную направленность. Конечным рубежом данного этапа стало конституирование новой, революционной югославской государственности на состоявшейся 29 ноября 1943 г. II сессии Антифашистского вече народного освобождения Югославии (АВНОЮ), 40 лет которой исполняется в нынешнем году. Именно в течение указанного периода обозначились принципиальные линии резкой классово-политической полярности и острей, принявшей вооруженный характер, конфронтации в югославском обществе в ходе народно-освободительной войны, а сама борьба против оккупационно-квислинговского режима превратилась одновременно в социальную революцию. Именно в этот период были заложены основы общей направленности революционного процесса и характера последовательно возникавшей новой Югославии.

В обширной югославской исторической литературе о народно-освободительной войне, о революционном повороте Югославии на путь социализма, о создании нового югославского государства значительное место занял и период 1941—1943 гг. Вместе с тем в исследовании этого периода, пожалуй, в наибольшей мере сказалось то уже отмечавшееся и в югославской, и в советской историографии обстоятельство, что в течение довольно значительного времени основное внимание при изучении народно-освободительной войны и развертывавшейся в ходе нее революции сосредоточивалось преимущественно на самой вооруженной борьбе за освобождение Югославии, а общественно-политические процессы, революция как таковая непосредственно анализировались в гораздо меньшей степени. Что же касалось процесса возникновения новой Югославии, то он довольно долго был объектом рассмотрения не столько в собственно исторической, сколько в историко-юридической литературе, где данная проблематика разрабатывалась главным образом не в плане анализа конкретно-исторической динамики складывания революционной власти и постепенно вы-

раставшей новой государственности, а в плане описания и правовой характеристики формировавшихся норм и институтов [1, с. 324; 2, р. 413; 3, с. 28—29, 30; 4, с. 32, 36]. Однако по крайней мере за последние полтора десятка лет югославские историки серьезно обратились к исследованию различных аспектов социально-политического развития революции и возникновения новой Югославии в период 1941—1943 гг. Из наиболее крупных трудов, посвященных изучению главных тематических или хронологических компонентов указанной проблемы, назовем в первую очередь монографию Д. Живковича о возникновении и развитии народной власти в 1941—1942 гг. [5], работу П. Морачи о восстании 1941 г. [6] и книгу Б. Петрановича, где в рамках анализа совокупного развития революции и образования новой Югославии фактически на всем протяжении народно-освободительной войны большое место отведено интересующему нас периоду — 1941—1943 гг. [7].

Определенный интерес к названной проблематике очевиден и в советской историографии. Некоторые аспекты развертывания югославской революции и возникновения новой Югославии в период 1941—1943 гг. нашли отражение в более общих коллективных трудах и индивидуальных монографиях по истории Югославии [8], истории народно-освободительной войны [9], истории СКЮ [10]. Появились и отдельные работы, целиком или в значительной степени посвященные непосредственно характеристике революционного процесса, складывания революционной власти и новой государственности в указанный период [3; 11; 12; 13].

Несомненны значительные результаты, достигнутые марксистской исторической наукой в изучении названного круга проблем. В то же время ряд вопросов нуждается в дальнейшем рассмотрении, тем более, что по некоторым из них в историографии — как югославской, так и советской — встречаются разные оценки. Это касается и определенных вопросов, связанных с пониманием особенностей генезиса, социального механизма, классово-политической динамики развертывания югославской революции и возникновения новой Югославии в 1941—1943 гг., на которых мы уже имели случай в той или иной мере останавливаться и на которых сосредоточено внимание в данной статье.

Истоки югославской революции лежали в тех острейших общественных противоречиях, которые были свойственны буржуазно-монархической Югославии на протяжении всего периода ее существования между двумя мировыми войнами, когда, по определению И. Броз Тито, «страна все время была чревата элементами революции» [14, с. 40]. Острота этих противоречий была обусловлена особенностями, присущими развитию капитализма в Югославии, как и в ряде других стран Юго-Восточной и Центральной Европы в указанный период. Капитализм развивался здесь при значительной незавершенности задач буржуазно-демократической революции, при сохранении сильнейших пережитков добуржуазных отношений. В преимущественно аграрной стране с крайне отсталой экономической структурой, где еще были живучи полуфеодалные или архаические формы эксплуатации, происходило в определенной мере переплетение, взаимное наложение двоякого рода социальных противоречий. Противоречия, обусловленные незавершенностью буржуазно-демократического переворота, переплетались с резко обозначенными общественными конфликтами, порождавшимися самим капиталистическим развитием. В результате последнее отличалось наиболее застойными формами и наиболее грубыми, реакционными методами эксплуатации. По уровню экономического развития и условиям жизни народа Югославия находилась на одном из последних мест в тогдашней капиталистической Европе. Социальное угнетение было неотделимо от политического реакционности буржуазно-монархического режима, носившего к тому же великосербский характер и проводившего политику шовинистического диктата в отношении других народов и народностей самой многонациональной (после СССР) европейской страны. В итоге, как отмечал И. Броз Тито, история Югославии до 1941 г. являлась «по сути дела, историей постоянного национального, политического и экономического кризиса» [14, с. 40].

Этот кризис сказался и тогда, когда Югославия в апреле 1941 г. подверглась фашистской агрессии, была оккупирована и расчленена захватчиками. Он проявился в неспособности правящей верхушки к борьбе за независимость страны, в развале югославской армии, в том, что значительная часть господствующих классов вступила на путь сотрудничества с врагом. Кризис привел к тому, что, используя национальные противоречия буржуазно-монархической Югославии, фашистским захватчикам и их квислинговским прислужникам удалось дезориентировать определенные слои населения в разных национальных районах страны, создать марionеточные режимы, включая так называемое «Независимое государство Хорватия», где у власти была поставлена фашистско-националистическая организация усташей во главе с А. Павеличем, квислинговское «сербское правительство», которое с августа 1941 г. возглавил М. Недич, и другие административные образования, состоявшие на службе оккупантов (подробнее об оккупационно-квислинговском режиме в Югославии см. [15]).

Продолжением довоенного общественного кризиса явилось в конечном счете и то, что уже в первые несколько месяцев оккупации позиция той части югославской, прежде всего сербской, буржуазии, которая была заинтересована в освобождении страны, пришла, однако, в столкновение с позицией широких народных масс, поднявшихся на активную вооруженную борьбу за освобождение. А само развитие этой борьбы стало угрожать не только оккупационно-квислинговскому режиму, но и возможности восстановления прежней буржуазно-монархической Югославии.

Заинтересованные в восстановлении довоенной Югославии буржуазные силы были политически представлены, во-первых, югославским королевским правительством и королем Петром II, которые вместе с большинством лидеров основных буржуазных политических партий бежали из страны, во-вторых, начавшим создаваться внутри страны четническим движением во главе с Д. Михайловичем. Эмигрировавшее правительство во главе с королем обосновалось в Лондоне, следуя в основном в фарватере политики Англии. Освобождение Югославии от захватчиков и восстановление довоенного государства предполагалось осуществить при поддержке Англии и США в момент разгрома сил фашистского блока на основных фронтах войны. До того момента, как считало ядро эмиграции, следовало воздерживаться от массового выступления против оккупантов в самой Югославии [16]. Той же позиции придерживалось и четническое руководство. Возникнув под лозунгом противостояния оккупантам, военно-политическая организация четников, вокруг которой в течение лета—осени 1941 г. стали объединяться великосербские антиоккупационные буржуазные группировки, ставила задачей собрание сил к моменту, когда гитлеровская Германия и сообщники по «оси» потерпят поражение. К развитию же активной вооруженной борьбы с захватчиками, а тем более к вовлечению в нее широких народных масс четническое руководство относилось враждебно [17].

Между тем в стране среди широких слоев народа зрело стремление к борьбе за освобождение, усиливавшееся жестокой угнетательской политикой оккупационно-квислинговского режима, в частности провоцированием межнациональных столкновений, массовыми преследованиями, вплоть, например, до форменного геноцида в отношении сербского, а также словенского населения на территории «Независимого государства Хорватия». Растущему стремлению к освободительной борьбе отвечала линия КПЮ, выступившей инициатором вооруженного сопротивления. Кризис югославского буржуазного общества отчетливо проявился в том факте, что КПЮ явилась единственной организованной политической силой, призвавшей к борьбе с оккупантами и их прислужниками и начавшей практическую работу по организации такой борьбы.

Уже с апреля 1941 г. КПЮ развернула активную подпольную деятельность по подготовке массовых выступлений против фашистских захватчиков и их пособников. Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз и вступление СССР в войну руководство компартии оценило как важнейший момент для перехода к непосредственному развертыванию широ-

кой вооруженной борьбы и призвало народ подняться против врага. Политбюро ЦК КПЮ создало Главный (затем переименован в Верховный) штаб во главе с генеральным секретарем КПЮ И. Броз Тито. Коммунисты и члены Союза коммунистической молодежи Югославии (СКМЮ) были организаторами и составили ядро первых партизанских отрядов и групп, которые в июле 1941 г. начали боевые действия.

Вооруженная борьба против захватчиков, развернувшаяся под руководством КПЮ, очень быстро превратилась в массовое народное восстание, в подлинную освободительную войну, в результате которой, как отмечал И. Броз Тито, в оккупированной Европе по существу образовался своеобразный новый фронт [14, с. 42]. К концу 1941 г. в партизанских отрядах было уже около 80 тыс. человек. К концу 1942 г. вооруженные силы организованного компартией народно-освободительного движения насчитывали около 150 тыс., а к концу 1943 г. — около 320 тыс. бойцов [18, с. 69, 123, 219]. Параллельно с этим шло превращение партизанских отрядов в освободительную армию. В декабре 1941 г. началось создание пролетарских и ударных бригад. Они стали ядром частей Народно-освободительной партизанской армии. А с ноября 1942 г. стали формироваться дивизии и корпуса регулярной Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ).

Выступив инициатором и организатором освободительной борьбы, создания народно-освободительного движения (НОД), направленного против оккупационно-квислинговского режима, КПЮ выдвинула политическую платформу НОД, содержащую его основные цели и принципы.

Данная платформа стала вырабатываться партией сразу же после оккупации страны, и в период с апреля до июля 1941 г., т. е. до начала вооруженной борьбы, линия КПЮ, как уже отмечалось в историографии, прошла определенную эволюцию [3, с. 34, 36; 6, с. 112—113, 166]. В этот начальный период оккупации, предшествовавший восстанию, в документах КПЮ, ее руководства, в частности в документах майского совещания, созданного Политбюро ЦК КПЮ совместно с представителями руководящих партийных органов из большинства национальных областей страны, в качестве непосредственных задач ставились как борьба против оккупантов, так и одновременно, в той или иной мере, борьба против буржуазии, за ликвидацию капиталистического строя, за осуществление социалистических целей (см., например [19, т. II, кн. 2, с. 12, 21, 22]). Однако к июлю 1941 г. классовые, антибуржуазные лозунги полностью заменяются национально-антифашистскими. Это соответствовало объективным условиям, возникшим в результате фашистской оккупации.

Оккупация не устранила тех острых противоречий, которые имелись внутри югославского буржуазного общества. Однако она сместила все общественные проблемы в иную плоскость, выдвинув на первый план в качестве самых неотложных, главных задачи восстановления независимости страны, незамедлительной борьбы против оккупантов, ибо от решения этих задач зависело развитие югославских народов, их будущее. Как отмечалось в югославской историографии, «в первую очередь речь шла, таким образом, не о противоречиях между трудом и капиталом, между рабочим классом и буржуазией, одним словом, о классовых противоречиях, а о кардинальных вопросах общества как такового, отдельных наций и югославских народов в целом» [20, с. 680]. Первоочередным оказывалось противоречие между захватчиками и народами оккупированной Югославии. Оно стало основным, решающим фактором в жизни страны. Оно же определяло теперь главную линию размежевания сил в самом югославском обществе. По одну ее сторону оказывались в данный момент все те, кто выступал против фашистских захватчиков, по другую — все те, кто так или иначе вставал на позиции коллаборационизма. Объективно тем самым создавалась основа для совершенно новой расстановки общественных сил, для объединения самых разнородных в классовом и политическом отношениях элементов, готовых тем не менее в той конкретной ситуации выступить против захватчиков.

В соответствии с этим КПЮ, начиная с июля 1941 г., с первых про-

рамных документов развертывавшегося восстания выдвинула в качестве его платформы, во-первых, исключительно общенациональные цели освобождения, а во-вторых — создание широкого национально-освободительного фронта, объединяющего всех, кто желал бороться против оккупационно-квислинговского режима, независимо от убеждений и взглядов на будущее развитие страны [19, т. I, кн. 1, с. 25; т. II, кн. 1, с. 11—12]. В директивах местным партийным организациям руководство КПЮ рекомендовало не ограничивать НОД как политически, так и организационно исключительно классовыми рамками, нацеливало коммунистов на широкое установление контактов с различными буржуазными и мелкобуржуазными группировками, с представителями довоенных партий, на создание совместных с ними и всеми иными патриотическими элементами комитетов национально-освободительного фронта, на установление союзов и единства действий партизан с любыми другими военными формированиями, которые ставят своей целью борьбу против оккупантов (см., например [19, т. I, кн. 1, с. 37—38, 48, 63—65, 111—112; т. II, кн. 2, с. 36, 51; т. V, кн. 1, с. 145; т. IX, кн. 1, с. 2—3, 8, 14; т. I, кн. 2, с. 173—175; т. III, кн. 1, с. 229—230, 367 и т. д.]) Эта линия означала, что, как отмечалось в югославской историографии, в новых условиях классовые, социальные моменты не были выражены непосредственно, как это было в прежних установках КПЮ, а отодвигались на второй план неотложными целями объединения самых широких слоев народа для организации борьбы против оккупантов, за освобождение страны [6, с. 166, 464]. Речь отнюдь не шла об отказе КПЮ от своей революционной, классовой программы, от основной стратегической цели уничтожения буржуазного строя и построения социализма в Югославии. Однако в данный момент жизненно важной задачей, стоявшей перед югославскими народами, от решения которой зависело все их будущее, являлось освобождение страны. И сам путь к осуществлению революционной цели КПЮ также лежал лишь через освобождение, вне и помимо которого не могли быть решены никакие проблемы самого югославского общества, включая какое бы то ни было социальное и политическое переустройство Югославии.

Вместе с тем новая линия общественной поляризации, ставившая во главу угла антифашистско-освободительные критерии, и практические потребности самой борьбы против фашистских захватчиков были, однако, неотделимы от острых общественных противоречий и конфликтов довоенной буржуазно-монархической Югославии, своеобразно преломлявшихся в условиях оккупации. Непосредственное решение задач национального освобождения, развития вооруженной освободительной борьбы вело уже в ходе борьбы к необходимости фактического решения ряда кардинальных политических и социальных проблем югославского общества.

Прежде всего это было связано с тем, что особый размах освободительной борьбы привел почти сразу к возникновению освобожденных от врага территорий. Они стали создаваться в ходе восстания уже летом—осенью 1941 г. Наиболее обширной первоначально стала освобожденная осенью 1941 г. территория в Западной Сербии с центром в Ужице — «Ужицкая республика», население которой составляло свыше 1 млн человек [21, т. I, кн. 1, с. 295]. В условиях тяжелой борьбы с фашистскими захватчиками победы перемежались с потерей тех или иных освобожденных территорий. В конце 1941 г. в обстановке крупного гитлеровского наступления против партизан, когда основные силы последних во главе с Верховным штабом вынуждены были отступить из Сербии, пала «Ужицкая республика». Но освобожденные районы возникали в других местах, и их общая площадь неуклонно расширялась. К концу 1942 г. она составляла одну пятую, к концу 1943 г. — около половины всей югославской территории [21, т. I, кн. 2, с. 324—325; 22, с. 633].

Возникновение освобожденных территорий поставило уже летом и в начале осени 1941 г. вопрос об организации там системы управления. И было очевидно, что от того, какой будет эта система, в огромной мере зависит государственно-политическое устройство страны, которое будет установлено после изгнания оккупантов.

Поднимая массы на восстание, КПЮ первоначально вообще не ставила в выдвинутой ею платформе НОД вопроса о власти. Когда же с образованием освобожденных территорий такой вопрос возник в качестве практического, КПЮ и объединенные вокруг нее левые силы, выступавшие в первых рядах борьбы за освобождение, не могли согласиться, чтобы в свободных партизанских районах произошло простое восстановление реакционных довоенных органов власти. При этом важнейшим было то обстоятельство, что данная линия КПЮ не только выражала революционные стратегические цели партии, но и непосредственно отвечала практическим потребностям развертывания общегославской народно-освободительной борьбы. Ибо восстановление довоенных органов шло бы вразрез с теми конкретными условиями, которые реально сложились в стране в результате оккупации и развернувшегося вооруженного восстания.

Существо заключалось в том, что в областях с несербским населением какая бы то ни было реставрация всего, связанного с прежней государственной структурой великосербского режима национального угнетения, была абсолютно неприемлема для самых широких масс. В то же время в самой Сербии, первоначально, в 1941 г., главном очаге борьбы, где были созданы наиболее обширные освобожденные территории, местный государственный аппарат старой, реакционной Югославии в подавляющей своей части включился очень быстро в квислинговскую систему созданного фашистскими оккупантами марионеточного «правительства» Недича. Наконец, самое главное было в том, что восстание явилось результатом непосредственной активности самого народа в оккупированной стране, начавшего борьбу вне и независимо от прежней, рухнувшей государственной структуры, представляемой эмигрировавшим королевским правительством, наоборот, даже вопреки призывам этого правительства воздержаться от развертывания борьбы. Выступление против захватчиков развивалось в рамках создаваемой в процессе освободительной борьбы под руководством КПЮ боевой самоорганизации восставших масс. Естественно, что рождавшаяся в ходе восстания система организации жизни в освобожденных районах могла в этих условиях исходить лишь от самих масс, поднявшихся на борьбу.

Именно на это нацеливала КПЮ: она выступила за то, чтобы в освобожденных районах создавались народно-освободительные комитеты как органы управления, наиболее отвечающие интересам развертывания борьбы с захватчиками, мобилизации народных масс, реальным условиям, сложившимся в стране [21, т. I, кв. 1, с. 18—20, 25—26, 295—296]. Именно в качестве таковых народно-освободительные комитеты, начавшие создаваться уже летом — осенью 1941 г., само их образование стали получать поддержку широких слоев восставшего народа. В то же время народно-освободительные комитеты фактически представляли собой принципиально новую, революционную по своей сути систему власти. Они формировались по инициативе коммунистов самими восставшими массами и брали на себя функции административного управления, организации экономической и культурной жизни на освобожденных территориях и даже определенные судебные прерогативы (подробнее см. [5]).

Так, специфически преломившись в условиях оккупации, противоречия, порожденные общественным строем старой Югославии, привели к тому, что практические потребности развития эффективной освободительной борьбы против фашистских захватчиков оказались связанными с необходимостью фактического создания новой системы власти, в корне противоположной довоенному буржуазно-монархическому порядку.

Одновременно эти противоречия обусловили и необходимость складывания в рамках НОД совершенно новой межнациональной организации, противоположной национально-государственной структуре довоенной Югославии.

В столь многонациональной стране, какой являлась Югославия, практическая задача освобождения объективно требовала не просто объединения всех патриотических, готовых вступить в борьбу сил, но одновременно объединения всех народов, национальных и этнических групп, органи-

зации освободительного движения на основе общегославского единства. Однако это никоим образом не могло основываться на принципах, на которых строилось довоенное государство с его доктриной «единого народа», означавшей на деле великосербский диктат и угнетение других югославских народов и национальных меньшинств, непризнание их национальных прав и даже самого существования большинства из них, а потому совершенно неприемлемой для несербского населения. Реальной платформой объединения могло быть лишь свободное, добровольное и братское боевое содружество, основывающееся на признании и абсолютном равноправии всех национальных компонентов многонациональной Югославии, сплотившихся во имя общей цели — освобождения от фашистских захватчиков. Такое объединение означало глубоко демократическое решение национального вопроса и одновременно отвечало практическим потребностям осуществления самой главной стоявшей перед страной задачи — освобождения от оккупантов. Именно это стало основой всей деятельности КПЮ и руководимого ею НОД [23, с. 130—139]; (см. также [6; 24]).

Сама структура НОД базировалась на объединении равноправных в военно-политическом отношении наиболее крупных национальных областей (Сербии, Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговины, Черногории, Македонии) со своими главными штабами в качестве руководящих органов освободительной борьбы на данной территории, чью деятельность направлял и координировал общегославский Верховный штаб. Еще более определенное политическое значение это приобрело, когда уже на протяжении осени 1941 — начала 1942 г. наряду с местными народно-освободительными комитетами как органами повстанческой власти, начали образовываться аналогичные главные комитеты отдельных крупных национальных областей — Словении, Сербии, Черногории, а впоследствии и других. Это в корне противоречило целям правящих классов довоенного югославского государства, подрывало их стремления к реставрации буржуазно-монархического великосербского режима. Отныне, основываясь на признании каждого народа и его полное равенство в качестве участника борьбы за независимость, освободительное движение утверждало тем самым и право всех народов и национальностей Югославии на равное участие в определении будущего страны после освобождения, право на свободное определение своей собственной судьбы, завоеванное с оружием в руках.

Таким образом, начиная с восстания 1941 г., в ходе борьбы, подчиненной целям национального освобождения, стала вместе с тем фактически возникать новая революционная система со своей организацией власти, носителями которой выступали народно-освободительные комитеты, со своей принципиально новой национальной структурой, а также со своей формируемой в ходе борьбы новой армией.

Революционная направленность этой системы чрезвычайно усиливалась тем, что, в отличие от ряда других оккупированных европейских стран, в Югославии буржуазия в целом, за исключением отдельных ее представителей или крайне незначительных групп, не только не приняла участия в народно-освободительном движении и заняла по отношению к нему враждебную позицию, но и в итоге связала себя фактически как политически организованная классовая сила с коллаборационистским лагерем.

Мы уже говорили выше, что еще в момент фашистской агрессии и установления оккупационного режима значительная часть буржуазного класса вступила в прямое сотрудничество с врагом. Это касалось абсолютно преобладающей части несербской буржуазии и ее политических группировок, стремившихся использовать расчленение страны фашистскими захватчиками в своих националистических целях. Тем более что в Югославии оккупанты, как правило, сами охотно вступали в контакт с этими силами, идя на создание различного рода квислинговских «национальных» образований, подобно усташскому «Независимому государству Хорватии». На квислинговские позиции встала уже весной и летом 1941 г. также часть сербской буржуазии, прежде всего те ее круги, что и до апреля тяготели

к фашистской «оси». Их центром стало «сербское правительство» Недича. Весь этот квислинговский буржуазный лагерь, открыто связавший себя с оккупационным режимом, сразу же тем самым стал прямым противником НОД. Борьба с оккупантами была и непосредственной борьбой с указанной частью буржуазии.

Что же касалось той части буржуазного класса, прежде всего большинства сербской буржуазии, которая была против захвата и расчленения страны фашистскими агрессорами и которая была заинтересована в освобождении, то с самого начала борьбы руководство КПЮ и НОД стало прилагать усилия к установлению с ней сотрудничества и общего освободительного фронта.

Наибольшие усилия были направлены в конце лета — осенью 1941 г. на организацию совместных действий с четниками Михайловича, отряды которых представляли собой некоторую военную силу. Руководство НОД установило контакты с руководством четников, командующий партизанскими силами, генеральный секретарь КПЮ И. Броз Тито вел переговоры с Михайловичем. В результате последний к концу сентября 1941 г., в обстановке, когда восстание в Сербии, развернувшееся под руководством коммунистов, было уже в разгаре, вынужден был пойти на некоторое взаимодействие с НОД. Четнические отряды приняли вместе с партизанами определенное участие в действиях против оккупантов [25; 26].

Однако реакционное руководство четников, стоявшее на позициях крайнего антикоммунизма, великосербского шовинизма и выступавшее против разрывания активной освободительной борьбы с участием широких народных масс, увидело в развитии восстания, в центре которого находилась КПЮ, главную опасность своим военно-политическим планам, направленным на восстановление буржуазно-монархической Югославии с великосербским режимом. В итоге уже в ноябре 1941 г. Михайлович не только отказался от совместных с партизанами действий против оккупантов, но и перешел к энергичной вооруженной борьбе против партизанских сил. Более того, в борьбе с НОД четническое руководство пошло на сотрудничество с оккупационно-квислинговским режимом, который стал использовать четников с целью скорейшего уничтожения партизан. Четническое движение, хотя и было заинтересовано в освобождении страны и продолжало ориентироваться на Англию и США, с которыми оно поддерживало связь, тем не менее вместе с группировавшимися вокруг него деятелями распавшихся сербских буржуазных партий превратилось в итоге в одно из существенных звеньев оккупационной системы [17; 27].

С осени 1941 г., когда была установлена связь между Михайловичем и Лондоном, югославское королевское эмигрантское правительство стало поддерживать четников, провозглашенных «королевской армией на родине». Эта поддержка продолжалась и тогда, когда Михайлович вступил на путь коллаборационизма. В результате фактическим участником коллаборационистской политики стало выступавшее официально на стороне антигитлеровской коалиции эмигрантское правительство, в котором Михайловичу в январе 1942 г. заочно был отведен пост военного министра.

Таким образом, югославская буржуазия как политически организованная классовая сила почти целиком оказалась так или иначе связанной с коллаборационизмом. Оккупантам противостояло в качестве реальной силы национального освобождения только народно-освободительное движение, организованное КПЮ. Всякий, кто хотел бороться за освобождение страны, мог практически сделать это лишь присоединившись к НОД. КПЮ являлась единственной политической силой, единственным и практически безраздельным руководителем всей освободительной борьбы в Югославии не только в военном и организационном, но и в политическом и даже в идейном отношении. Все ведущие органы восстания были почти целиком созданы из руководящих деятелей партии и партийных активистов; командующим партизанскими силами, а затем НОАЮ стал генеральный секретарь КПЮ И. Броз Тито. Подавляющее большинство повстанческих командиров также были коммунистами или же им симпатизировали. В каждом партизанском подразделении был комиссар-коммунист.

Уже с первых дней восстания 1941 г. комиссары стали играть важнейшую роль в организации и политическом руководстве освободительной борьбы [28]. Сама организационная система КПЮ, по сути, стала своего рода организационной основой, связующим звеном НОД [29; 30]

Подобная общественная поляризация, когда практически основные политические организованные силы югославской буржуазии, встав на путь коллаборационизма, оказались в лагере противников освободительной борьбы, противников НОД, а последнее развивалось как единое движение борющихся масс, целиком организованное и направляемое КПЮ, чрезвычайно усиливала объективно революционную направленность развернувшейся борьбы против захватчиков, революционный характер новой системы повстанческой власти в лице народно-освободительных комитетов. КПЮ открыто противопоставляла их старым органам власти. От последних, указывала КПЮ, комитеты отличаются тем, что они свободно и непосредственно избираются самим народом. КПЮ подчеркивала, что комитеты, в отличие от довоенных антинародных режимов, должны действовать в интересах беднейших слоев трудового населения, которые являются самой надежной опорой освободительной борьбы [21, т. I, кн. 1, с. 19, 25]. Как абсолютный руководитель освободительного движения КПЮ полностью направляла всю деятельность комитетов. В возникающей системе новой власти не было другой организованной политической силы кроме КПЮ. Более того, фактический переход буржуазии в коллаборационистский лагерь приводил к тому, что борьба против оккупантов и их пособников объективно стала сливаться с борьбой против югославской буржуазии. А народно-освободительные комитеты и вся основывающаяся на них система повстанческой власти, будучи направленными против оккупационно-квислинговского режима, оказывались тем самым фактически направленными и непосредственно против буржуазии, как класса.

Тем самым, как мы уже имели случай отметить, новая власть по существу становилась своеобразной революционной диктатурой антифашистских демократических сил народа, где главную роль играли трудовые массы, а пролетариат, политически представляемый компартией, был не только гегемоном, но и безраздельным руководителем всей системы власти. Таким образом, глубокая народная революция, в которую на деле превратилась освободительная борьба, в двух важнейших пунктах — по классовому размежеванию и по расстановке сил в новых органах власти — стала почти сразу приобретать черты, свойственные социалистической революции, а создаваемая в ходе борьбы новая власть — черты диктатуры пролетариата, основанной на широком классовом союзе [13, с. 318—319].

Вместе с тем особенностью развертывавшейся революции было то, что столкновение между массами, пошедшими за КПЮ и сплотившимися под ее руководством в НОД, и буржуазией происходило непосредственно на национально-освободительной основе, на базе отношения к оккупантам, по линии «за» или «против» них, «за» или «против» борьбы за освобождение. Это столкновение имело глубоко социальный смысл как столкновение противоположных классово-политических стремлений в условиях освободительной борьбы. КПЮ, руководившая этой борьбой, активно укрепляла рабоче-крестьянское ядро НОД, энергично противопоставляла НОД буржуазным силам, перешедшим на сторону врага. В то же время, исходя из первоочередной задачи объединения сил против фашистских оккупантов, руководство партии и НОД по-прежнему стремилось к сплочению всех, кто был готов к борьбе за освобождение, не ставя непосредственно пролетарских, социалистических целей [19, т. II, knj. 3, s. 354, 387; knj. 5, s. 25, 384—385; т. III, кн. 3, с. 46, 49; 21, т. I, knj. 2, s. 444—445; 31, с. 41—42, 46, 49, 66—67]. КПЮ учитывала, что первоначально размежевание борющихся масс, прежде всего крестьянства, которое стало главной массовой базой НОД, с буржуазией было в значительной мере не столько результатом прямого выступления против последней как класса, как враждебного социального фактора, сколько скорее следствием того, что буржуазия

как организованная сила сама поставила себя по другую сторону баррикады в качестве пособника оккупационного режима.

Вовлечение широких слоев народа в освободительную борьбу, приобретшую революционное содержание, обуславливалось в значительной степени национальными стимулами, в то время как социальные, идейно-политические стимулы, особенно в первый период, не выступали в своем непосредственном виде, и практическое участие в борьбе народных масс во многих случаях еще не было полностью идентично прямой готовности к радикальным общественно-политическим преобразованиям, а тем более к решительному, принявшему форму вооруженного столкновения, размежеванию с буржуазией как классом [32; 33]. Там, где стремились преждевременно придать складывавшемуся размежеванию ярко выраженный классовый характер, заострить пролетарскую направленность, происходил немалый отлив от народно-освободительного движения, либо серьезно усиливались трудности, имевшие место в его рядах в моменты неблагоприятной военной обстановки. Так было, в частности, в первой половине 1942 г. в Черногории, Восточной Герцеговине, Словении, Далмации и некоторых других районах. Это вызвало озабоченность руководства КПЮ, осудившего такую тактику [19, т. II, кн. 3, с. 354, 387; кн. 5, с. 50, 80—81, 134—135, 162—163, 275—276, 303—309, 392 etc.].

С развитием народно-освободительной войны, под влиянием ее революционной практики, под влиянием уже происшедшего и становившегося все более очевидным для восставшего народа его размежевания с буржуазией происходила неуклонная радикализация поднявшихся на борьбу масс, непрерывное углубление их революционного сознания. Все более определенной становилась решимость не допустить восстановления в освобожденной стране старых порядков эксплуатации и угнетения, все более четким становилось понимание необходимости создания совершенно нового государственного и общественного устройства, основанного на принципах подлинной власти народа. Этот процесс активно и целеустремленно направлялся Коммунистической партией Югославии. Под воздействием успешно осуществлявшейся линии КПЮ, соединившей в неразрывное целое освободительные, национально-демократические цели борьбы с ее глубоким социально-революционным содержанием, само понятие антифашистского освобождения, национальной свободы и демократии наполнялось все более глубоким социальным смыслом, получавшим все отчетливее выраженный антибуржуазный, в конечном счете социалистический по своей направленности, характер.

Выражением этого являлся огромный рост КПЮ и СКМЮ. За годы войны в партию, насчитывавшую к моменту восстания 12 тыс. человек, вступило 180 тыс. новых членов, в 15 раз больше ее состава к началу борьбы (к моменту окончания войны в партии было больше 141 тыс. членов, а в годы народно-освободительной борьбы погибло около 50 тыс. коммунистов [34, с. 154—155, 162]). В КПЮ вступил и ряд входивших в некоторые из распавшихся партий и групп довоенной Югославии демократически ориентированных деятелей: лидер «демократической левицы» И. Рибар, видные руководители словенских «христианских социалистов» М. Брецель и З. Полич и др. Не менее быстрыми темпами рос и СКМЮ.

По мере развития народно-освободительной войны и развертывавшейся в ходе нее революции компартия в рамках непосредственных национально-освободительных антифашистско-демократических целей борьбы выдвигала все более определенные задачи создания новой, народно-демократической Югославии. Летом 1942 г. КПЮ и руководимое ею НОД открыто выступили против королевского эмигрантского правительства, поддерживавшего и прикрывавшего коллаборационистскую линию четников. В статье И. Броз Тито «Международное значение народно-освободительной борьбы в Югославии и замаскированные предатели», помещенной в издававшемся Верховным штабом «Военно-политическом обзоре», подчеркивалась антинародная роль эмигрантского правительства, ничему не научившегося в ходе войны и оставшегося на тех же противоречащих интересам народа позициях, которые были свойственны довоенным юго-

славским правителям, приведшим страну к катастрофе [23, с. 81—86]. В сентябре 1942 г. руководство НОД дало директиву не выдвигать больше формулы о временном характере народно-освободительных комитетов, указав, что они являются основой будущей народной власти [19, т. II, кнж. 6, с. 87]. В статье, опубликованной органом КПЮ газетой «Борба» 1 октября 1942 г. было заявлено о невозможности возвращения старой власти, каких-либо прежних антинародных режимов, о невозможности того, чтобы народ отказался от власти, во имя которой он понес огромные жертвы [21, т. I, кнж. 2, с. 14].

Образовавшаяся система народно-освободительных комитетов уже представляла собой на практике новую организацию власти, действовавшую в специфических условиях борьбы против захватчиков. Особенностью складывавшейся организации революционной власти было то, что первоначально она не имела своих высших общегославских органов. До ноября 1942 г. существовал лишь высший военный орган НОД — Верховный штаб, который одновременно выполнял совместно с ЦК КПЮ и определенные задачи политического представительства НОД, руководства народно-освободительными комитетами, организацией жизни на освобожденных территориях. В феврале 1942 г. Верховный штаб принял так называемые Фочинские предписания — первые общегославские акты, кодифицировавшие систему организации и деятельности народно-освободительных комитетов [19, т. II, кнж. 2, с. 411—420].

26—27 ноября 1942 г. на освобожденной территории, в городе Бихач была создана учредительная сессия АВНОЮ. Оно конституировалось как центральный общеполитический орган НОД, фактически став высшим представительным органом в системе народно-освободительных комитетов. Избранный на сессии исполком АВНОЮ выполнял на деле роль своеобразного повстанческого правительства. В резолюции I сессии АВНОЮ специально подчеркивалось, что победа будет полной только тогда, когда югославские народы станут полными хозяевами в своей освобожденной стране, когда они через избранные по собственной воле народно-освободительные комитеты обеспечат все условия для такого строя, который даст им возможность осуществить подлинную демократию и построить свое независимое и братское сообщество. В резолюции заявлялось, что нужно бороться не только против фашизма, но и «против старого реакционного строя, который силой пытается сохранить эмигрантское югославское правительство» [35, с. 61].

После I сессии АВНОЮ усилилась работа по упорядочению и совершенствованию деятельности народно-освободительных комитетов, как органов власти на освобожденных территориях. Эту работу возглавил исполком АВНОЮ, в составе которого были созданы специальные отделы: по хозяйственно-финансовым вопросам, по внутренним делам, по вопросам просвещения, по пропаганде, по делам здравоохранения, по социальным вопросам, по вопросам религии. Исполком АВНОЮ координировал обмен опытом деятельности народно-освободительных комитетов, нормативную кодификацию их функций и организации и т. д. [36, с. 23—80].

В результате успешного развертывания народно-освободительной войны, углубления революции, а также в условиях более благоприятного развития международной обстановки, возросших возможностей Советского Союза, поддерживавшего НОД (в данной статье мы не останавливаемся на рассмотрении внешнеполитического аспекта народно-освободительной войны и революции в Югославии, требующего особого рассмотрения), год спустя, после учредительной сессии АВНОЮ, 29 ноября 1943 г., на своей II сессии в городе Яйце АВНОЮ конституировалось как верховный орган власти страны. Было принято решение, что эмигрантское правительство лишается всяких прав. Королю Петру II запрещалось возвращаться в Югославию. Окончательно вопрос о монархии должен был быть решен народом после освобождения. II сессия АВНОЮ образовала Национальный комитет освобождения Югославии (НКОЮ), выполняющий функции народного правительства [35, с. 219—227]. Его председателем стал И. Броз Тито, которому было присвоено звание маршала Югославии.

II сессия АВНОЮ приняла решение о новой национально-государственной структуре страны. Устаивалось, что новая Югославия, создаваемая в ходе народно-освободительной войны и революции, будет строиться как демократическая федерация, состоящая из равноправных Сербии, Хорватии, Словении, Македонии, Черногории и Боснии и Герцеговины [35, с. 227—228]. Как подчеркивал впоследствии И. Броз Тито, решения II сессии АВНОЮ «имели далеко идущее, историческое значение, были заложены основы новой демократической, федеративной Югославии как государственного содружества равноправных народов» [37, с. 7].

Таким образом, II сессия АВНОЮ конституировала новую, народно-демократическую югославскую государственность. Ее классовое содержание определялось дальнейшим развитием и углублением процесса социалистической революции, развертывавшейся в условиях народно-освободительной войны. В этой войне, отмечал И. Броз Тито, «Коммунистическая партия Югославии, оставаясь последовательно на антифашистской и национально-освободительной платформе, смогла обеспечить победу над фашистскими захватчиками в своей стране. Это одновременно была и победа над предательской, капитулянтской господствующей буржуазией, что в конечном итоге также привело к победе социалистической революции» [14, с. 42].

В ходе изгнания фашистских оккупантов из Югославии, начавшегося в октябре 1944 г., когда развернулись совместные боевые действия НОАЮ и советских войск по освобождению восточных районов страны, органы революционной власти устанавливали постоянный контроль и приступали к нормальному функционированию на уже окончательно освобожденной югославской территории. С завершением освобождения в мае 1945 г. новая Югославия утвердилась как государство в полном смысле этого слова. Ровно два года спустя после II сессии АВНОЮ, 29 ноября 1945 г. Учредительная скупщина приняла решение об упразднении монархии и провозглашении Федеративной Народной Республики Югославии. Тем самым была окончательно закреплена победа революции. Новая Югославия, возникновение которой было конституировано II сессией АВНОЮ, вступила на путь строительства социализма.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Морача П.* Югославская историография народно-освободительной войны и революции (1941—1945).— В кн.: Вторая мировая война, кн. 3. Движение Сопротивления в Европе. М., 1966.
2. *The Historiography of Yugoslavia 1965—1975.* Beograd, 1975.
3. *Губианский Л. Я.* Проблемы исследования революции и становления народной власти в Югославии.— Советское славяноведение, 1972, № 6.
4. *Губианский Л. Я.* Проблемы периодизации югославской народно-освободительной войны и революции в послевоенной историографии СФРЮ.— Советское славяноведение, 1980, № 2.
5. *Živković D.* Postanak i razvitak narodne vlasti u Jugoslaviji 1941—1942. Beograd, 1969.
6. *Морача П.* Jugoslavija 1941. Beograd, 1971.
7. *Petranović B.* AVNOJ — revolucionarna smena vlasti. 1942—1945. Beograd, 1976.
8. История Югославии. Т. II. М., 1963.
9. *Славин Г. М.* Освободительная война в Югославии (1941—1945). М., 1965.
10. *Севьян Д. А.* Из истории Союза коммунистов Югославии. 1919—1945. М., 1982.
11. *Касаткин Н. И.* К вопросу о социалистической революции в Югославии.— Уч. зап. Пермского ун-та, № 253. Вопросы истории международного рабочего движения, вып. 9. Пермь, 1971.
12. *Зеленин В. В.* Важная историческая веха (К 30-й годовщине Второй сессии Антифашистского веча народного освобождения Югославии).— Советское славяноведение, 1973, № 6.
13. *Губианский Л. Я.* Развитие югославской революции в ходе народно-освободительной войны и борьба за окончательное утверждение новой Югославии.— В кн.: Из истории народно-демократических и социалистических революций в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1977.
14. *Броз Тито И.* Избранные статьи и речи. М., 1973.
15. *Čulinović F.* Okupatorska podjela Jugoslavije. Beograd, 1970.
16. *Duretić V.* Vlada na bespuću. Internacionalizacija jugoslovenskih protivvrječnosti na političkoj pozornici drugog svjetskog rata. Beograd, 1982.

17. *Tomasevič J.* War and Revolution in Yugoslavia, 1941—1945. The Chetniks. Stanford (California), 1975.
18. *Strugar V.* Jugoslavija 1941—1945. Beograd, 1969.
19. Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа. Т. I—XIV (часть томов издана латиницей). Београд, 1949 (издание продолжается).
20. *Narodni front i komunisti Jugoslavija, Čehoslovačka, Poljska 1938—1945.* Beograd, 1968.
21. Историјски архив Комунистичке партије Југославије. Т. I, књ. I. Београд, 1949; *Istorijski arhiv Komunističke partije Jugoslavije, t. I, knj. 2.* Beograd, 1949.
22. *Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 1941—1945, knj. 1.* Beograd, 1957.
23. *Броз Тито Ј.* Борба за ослобођење Југославије 1941—1945. Београд, 1947.
24. *Marjanović J.* Prilog izučavanju jugoslovenstva u ustanku 1941.— *Jugoslovenski istorijski časopis*, 1962, № 1.
25. *Marjanović J.* Prilozi istoriji sukoba narodnooslobodilačkog pokreta i četnika Draže Mihailovića u Srbiji 1941 godine.— In: *Istorija XX veka. Zbornik radova, I.* Beograd, 1959.
26. *Marjanović J.* Ustanak i narodnooslobodilački pokret u Srbiji 1941. Beograd, 1963.
27. *Marjanović J.* Draža Mihailović između Britanaca i Nemaca, knj. I. Zagreb, 1979.
28. *Zivković N.* Politički komesar i njegova uloga u narodnooslobodilačkom pokretu do donošenja statuta proleterskih brigada februara 1942 godina.— In: *Istorija XX veka: Zbornik radova, XI.* Beograd, 1970.
29. *Morača P.* Komunistička partija Jugoslavije u stvaranju narodnog fronta u oslobođilačkom ratu i revoluciji 1941—1945.— In: *Narodni front i komunisti.* Beograd, 1968.
30. *Морача П.* Коммунистическая партия и социалистическая революция в Югославии в 1941—1945 гг.— В кн.: *Из истории Великого Октября и последующих социалистических революций. Сборник статей.* М., 1978.
31. *Броз Тито Ј.* Говори и чланци, књ. I. Загреб, 1959.
32. *Đuretić V.* Neki elementi konstituisanja revolucije u nas.— *Gledišta*, 1971, № 2.
33. *Đuretić V.* Teorijsko-metodološki smisao odnosa klasnog i nacionalnog u NO ratu.— In: *Politički život Jugoslavije 1914—1945. Zbornik radova.* Beograd, 1973.
34. V конгрес Комунистичке партије Југославије. 21—28 јула 1948. Стенографске белешке. Београд, 1949.
35. Прво и Друго заседање Антифашистичког већа народног ослобођења Југославије (26 и 27 новембра 1942; 29 и 30 новембра 1943). По стенографским белешкама и другим изворима. Београд, 1953.
36. *Temelji nove Jugoslavije.* Beograd, 1973.
37. *Комунист* (Београд), 1975, 12 мај.



ПАРСАДАНОВА В.

К 40-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ КРАЙОВОЙ РАДЫ НАРОДОВОЙ В ПОЛЬШЕ

В 1943 г. после решающих побед Советской Армии над фашистскими захватчиками в Польше усилилось движение Сопротивления и произошли существенные перемены в расстановке политических сил. В стране складывалась революционная ситуация. В этих условиях Польская рабочая партия выдвинула идею создания Национального демократического фронта как политического союза рабочего класса, крестьянства и интеллигенции. В ее программной декларации «За что мы боремся» борьба против фашизма и освобождение страны связывались с завоеванием власти революционно-демократическими силами.

В конце октября 1943 г. ЦК ППР принял решение создать верховный орган Национального демократического фронта — Крайову Раду Народову (КРН — Национальный Совет Польши). Начались переговоры с социалистическими, крестьянскими, демократическими и некоторыми другими организациями. ППР призывала людовцев «к объединению всех сил демократического лагеря в Польше в едином национальном фронте» [1, с. 257]. Положительный отклик последовал только от радикального крыла людовцев. РППС соглашение с ППР ставила в зависимость от завершения своих переговоров с людовцами и демократами, что делало ее сотрудничество с ППР невозможным. Более того, РППС создала так называемый Главный народный комитет, что должно было воспрепятствовать сближению демократических сил во главе с ППР. Сотрудничать с ППР и участвовать в КРН согласилась только группа сторонников единого фронта, возглавляемая Э. Осубка-Моравским.

15 декабря 1943 г. был опубликован «Манифест демократических общественно-политических и военных организаций в Польше» Комитета национальной инициативы, представителей подпольного профессионального движения, группы деятелей Стронництва людового и Батальонов хлопских, профсоюза работников умственного труда, представителей свободных профессий, ЦК ППР, группы беспартийных демократов, Союза борьбы молодых, Главного командования Гвардии Людовой, которые, «сознавая важность момента и ответственность за судьбы польского народа и будущее Польши, выступили с инициативой создания КРН как фактического представительства польского народа, уполномоченного руководить его судьбами до освобождения Польши от оккупации»¹.

Первое заседание КРН началось в глубокой тайне 31 декабря 1943 г. в 18.30, в Варшаве, на ул. Твардей в д. 22, кв. 14. Оно продолжалось всю ночь с перерывом с 11.45 до 0.30 мин. и закончилось 1 января 1944 г.

¹ Имеющиеся ныне перепечатки манифеста представляют собой вторую его редакцию, подписанную представителями 14 организаций, в том числе деятелями ремесла, Армии Крайовой, бывшей польской армии и т. д. В ней, в отличие от первой, конкретизируются формулировки в духе, более приемлемом для широкого круга организаций.

в 6 часов утра. В состав КРН образовывавшие ее организации делегировали 31 депутата, из них 11 были членами ППР, 9 — РППС, 4 — людовцами [2, 83]. Присутствовало на первом заседании КРН 19 человек, представлявших 12 организаций подполья: Комитет национальной инициативы, ППР, группу социалистических деятелей, группу людовских деятелей и Батальонов хлопских, Командование ГЛ, подпольные профсоюзы, группу деятелей науки, представителей подпольной печати, группы интеллигенции и врачей-демократов, Союз борьбы молодых, Союз еврейских рабочих (под этим названием выступал ЦК партии Поалей-сион-левица).

Заседание КРН началось с заявлений представителей организаций, подписавших манифест о создании КРН. Они решительно отмежевались от «лондонского» лагеря, осудили внутреннюю и внешнюю политику польского эмигрантского правительства, заявили о своем несогласии на восстановление довоенной Польши, высказались за активную борьбу против оккупантов.

Выступая от имени ППР Б. Берут («Яновский») охарактеризовал заседание КРН как историческое, ибо фактически впервые в истории Польши заявляли о своей решимости взять «ответственность за судьбы народа объединенные, самые активные в борьбе за свободу Польши, больше всего с ядром народа — с его трудящимися массами — связанные силы антифашистского и демократического лагеря Польши» [3, s. 12]. ППР считала, что программой КРН должно явиться «строительство демократической Польши, государства, основывавшего свой быт на воле и решениях главнейших слоев народа: рабочих, крестьян, ремесленников и трудящейся интеллигенции». Она организовала активную борьбу против оккупантов и провозгласила принципом внешней политики союз с СССР и другими народами в войне с фашизмом. Дружественное сотрудничество с СССР является условием экономического развития Польши и гарантом ее независимого существования. После освобождения страны в соответствии с волей народа должна быть проведена перестройка внутренней жизни на основах широкой демократии и социально-экономических преобразований. «Таковы главные принципы, которые будут путеводной нитью для представителей ППР в КРН» [3, s. 12—15].

Э. Осубка-Моравский, излагая взгляды представляемого им течения в РППС, считал необходимым создание в стране народного правительства на широкой людовско-демократически-социалистической основе, участие социалистов в создании рад народных, которые «будут выражать волю всего польского общества, а не только его части, проживающей в столице» [3, s. 17].

От имени групп СЛ и БХ В. Ковальский («Бжезиньский») заявил, что программа людовцев предусматривает следующие требования: независимая демократическая народная Польша; всеобщее, прямое, равное, тайное, пропорциональное избирательное право на выборах в сейм и сенат; экспроприация без возмещения помещицкой земли и передача ее крестьянам и сельскохозяйственным рабочим; всеобщее бесплатное обучение вплоть до высшего; политические свободы; развитие на основах кооперации промышленности, перерабатывающей сельскохозяйственное сырье; обобществление тяжелой промышленности, шахт и металлургических заводов, банков [3, s. 19]. Левые людовцы высказывались за сотрудничество с ППР, за установление союза с СССР.

Представитель профсоюзов В. Двораковский («Завадский») полагал: КРН должна стать выразителем интересов политической и экономической демократии, в рамках которой профсоюзное движение может сыграть свою роль в формировании фундамента народной Польши [3, s. 25], выдвигал требования обобществления крупной промышленности, шахт, металлургических заводов. Представители интеллигенции будущее страны связывали с предоставлением в ней права на труд и творчество, свободы от эксплуатации капитала путем «введения плановой, обществом контролируемой экономики» [3, s. 24].

Союз борьбы молодых от имени своего поколения выдвигал положение о расширении их политических и гражданских прав, об активном и пас-

сивном избирательном праве с 18 лет, 6-часовой день для молодых, равную плату за равный труд, обеспечение труда и отдыха молодежи, широкого доступа к благам культуры, образования и цивилизации.

На основе заявлений, представленных в КРН партий и групп, была выработана декларация КРН. Она исходила из декларации ППР «За что мы боремся». Отмечая факт близкого разгрома германского фашизма, а также то, что из беспримерного героизма борцов за освобождение рождается свободная Польша, декларация констатировала: будущее Польши теснейшим образом зависит от участия Польши в происходящих событиях, от вклада польского народа в дело общей победы: «место и роль Польши в послевоенном мире, наше существование и существование будущих поколений зависят от того пути, по которому пойдет польский народ» [4, с. 11]. Определит этот путь созданное в стране руководство, отражающее волю, стремления и интересы самых широких масс польского общества. Вокруг КРН должен объединиться весь народ, КРН заложит прочный и здоровый фундамент будущего здания польского государства, гарантирует от попыток навязать народу вновь санационно-озоновскую диктатуру, КРН объявляла себя исполнительницей воли польского народа, призванной и уполномоченной руководить его борьбой во имя национальных и государственных интересов Польши. Декларация определялась как «план действий на ближайшее будущее» [4, с. 11], т. е. это была программа-минимум. Основная и главная задача — объединение и мобилизация всех сил народа и всех средств для борьбы с оккупантами. Для достижения этой цели КРН создаст Армию Людову, как вооруженную силу народа, призванную объединить в своих рядах всех желающих бороться за независимость родины; назначит командование Армии Людовой, примет верховную власть над вооруженными силами польского народа; будет неустанно трудиться над организацией вооруженных действий всего народа вплоть до того момента, когда будет создана свободная, демократическая и суверенная Польша. «Крайова Рада Народова заявляет, что в освобожденной Польше должна господствовать социальная справедливость. Величие и мощь Родины должны опираться на гарантирование широким трудящимся массам города и деревни — рабочим, крестьянам, ремесленникам, работникам умственного труда и интеллигенции — спокойного и обеспеченного материального существования, образования, свободы, всех демократических прав и роли хозяина в возрожденной Польше» [4, с. 12]. Это может быть обеспечено конфискацией без возмещения всей помещичьей земли и земли, принадлежавшей немцам, передачей ее крестьянам и сельскохозяйственным рабочим; национализацией крупной промышленности, шахт, банков и транспорта.

КРН заявляла, что в области внешней политики она будет поддерживать дружественные отношения со всеми народами, объединившимися в борьбе с гитлеризмом. Она считает необходимым возвращение Польше ее земель на западе и севере, решение пограничных проблем на востоке путем дружественного соглашения Польши с Советским Союзом при признании права наций на самоопределение. Верховный орган Национального демократического фронта заявлял, что в основу строительства государственного аппарата кладет «демократические принципы» конституции 1921 г. и Манифест демократических общественно-политических и военных организаций.

КРН указывала, что будет осуществлять власть, опираясь на систему рад народных. Рады будут связаны путем делегирования представителей нижестоящих в вышестоящие вплоть до КРН и подчиненности на основе демократического централизма. В создании рад народных могли принимать участие все организации и объединения, стоящие на принципах демократии и независимости. Право делегирования в рады получали политические группировки, военные организации, фабричные, крестьянские и фольварочные комитеты, профессиональные союзы рабочих и интеллигенции, общественные организации. Допускалось кооптирование заслуженных деятелей, не принадлежавших к указанным выше объединениям. Таким образом в основу политической системы будущей Польши заклады-

вался принцип многопартийности, объединения всех политических и общественных сил в рамках национального фронта, получившего в лице рад народных органы власти и координации их деятельности.

В условиях оккупации рады народные являлись подпольными органами власти, после создания временного правительства они должны были превратиться в его временные исполнительные органы. КРН заявляла, что до создания правительства она будет выполнять ряд правительственных функций (представлять государство за границей, заключать соглашения о внешних займах и т. д.). После образования правительства она перейдет к исполнению функций верховного представительства народа и будет осуществлять контроль за деятельностью исполнительной власти.

В связи с активной деятельностью разнородных польских центров в эмиграции, оказывавших влияние на миллионы поляков-эмигрантов, КРН устанавливала принцип примата страны, подчинения ей органов и институтов, созданных в эмиграции.

В законе о создании Армии Людовой (АЛ) говорилось: «Армия Людова является основной силой польского народа в стране, поэтому все военные формирования за границей: корпус им. Тадеуша Костюшки под командованием ген. Берлинга, отряды ген. Андерса на Ближнем Востоке, отряды, сформированные в Англии, войдут в состав Армии Людовой» [3, с. 46].

КРН заверяла союзные правительства и народы, что ее вооруженные силы и польский народ будут вести борьбу до победы над фашистским варварством [4, с. 56]. КРН обратилась к союзным державам с просьбой о помощи АЛ оружием, боеприпасами и военным снаряжением. КРН приняла советскую программу решения спорных вопросов в советско-польских отношениях (принятие в качестве границы «линии Керзона» в том числе, которую предложило советское правительство 11 января 1944 г.; оно базировалось на решениях Тегеранской конференции) [4, с. 21—23].

ППР передала в распоряжение КРН свои вооруженные силы — Гвардию Людову. В АЛ вошли и часть Батальонов хлопских и часть отрядов социалистов — народной милиции. Строилась АЛ на основе автономии, в духе подлинного демократизма. Ближайшей задачей отрядов АЛ являлась борьба против оккупантов и их пособников.

В начале января по радио были переданы сообщение о создании КРН, ее декларация и обращение к союзным державам о помощи оружием АЛ. По просьбе ЦК ППР Центральное бюро польских коммунистов в СССР информировало об этом Советское правительство, нашло у него благоприятный отклик и получило конкретную помощь. Правительство СССР сообщило о создании КРН союзникам по дипломатическим каналам. 15 марта 1944 г. соответствующая памятная записка была вручена правительству США.

Создание КРН означало, что в ходе борьбы за освобождение Польши от немецко-фашистских оккупантов образовались два лагеря: буржуазный во главе с польским эмигрантским правительством и его представительством в стране, и революционно-демократический, сплотившийся вокруг ППР, и создавший свой верховный орган — КРН.

Укрепление связей между ППР и левым крылом РППС в рамках КРН создало основы для установления единства действий рабочего класса, контакты с левыми людовцами — для привлечения на его сторону крестьянства, а ход событий — предсказывала ППР — побудит всех людовцев и социалистов перейти в лагерь КРН.

Было образовано 8 воеводских, около 100 повятовых и городских и около 300 гминных рад народных [6, с. 37]. Объединяя коммунистов, социалистов, крестьянских деятелей и беспартийных, рады народные сыграли серьезную роль в борьбе против оккупантов, а впоследствии в срыве попыток польской реакции захватить власть.

В мае 1944 г. состоялся подпольный съезд РППС. Он пересмотрел позицию, которую бывшее руководство партии занимало в отношении

коммунистов и Советского Союза. Съезд принял программу единства действия рабочего класса, основанную на сотрудничестве РППС и ППР, борьбы за укрепление и расширение базы КРН. Эту программу одобрило большинство партии.

Руководители другого направления в РППС продолжали политику раскола левых сил. Главный народный комитет был преобразован в Центральную демократическую, социалистическую и синдикалистскую организацию (февраль 1944 г.). Радикально-мелкобуржуазная Центральная организация должна была, по мнению ППС-левицы, объединить силы от крайней левицы до центра включительно. На деле она затрудняла и задерживала консолидацию сил демократии.

ППР стремилась привлечь на сторону КРН всю РППС и ликвидировать расхождения в ее рядах [5, s. 258]. Поэтому она продолжала переговоры с ЦК ППС-левицы и с Центризацией в целом. Стороны не могли прийти к общей точке зрения относительно лондонского правительства и восточных границ Польши.

Неудачи ППС-левицы в реализации ею концепции народного фронта, а с другой — рост авторитета КРН внутри страны и на международной арене привели в конце концов к признанию ППС-левицей и Центризацией КРН и ее программы. Произошло это в августе 1944 г. во время Варшавского восстания.

Объединение патриотических и демократических сил вокруг КРН и Армии Людовой свидетельствовало о притягательности идей ППР, правильности ее политики создания демократического национального фронта, о стремлении народа не допустить возвращения буржуазии и помещиков к власти. Армия Людова пополнилась и за счет притока военных отрядов других организаций, признававших КРН: БХ, «Свит» (стала II бригадой АЛ), Рады обороны народу и ее Корпуса безопасности, отошедших от АК. Всего в АЛ было до 50—60 тыс. бойцов. Наиболее активные действия партизан АЛ весной 1944 г. велись в Люблинском воеводстве, которое стало ближайшим тылом советско-германского фронта, там были созданы партизанские районы. По приказу КРН Армия Людова взаимодействовала с отрядами советских партизан, с марта 1944 г. начавших выходить на территорию Польши. Всего на польской земле в 1941—1945 гг. боролось около 90 советских и советско-польских отрядов общей численностью до 20 тыс. человек.

В марте 1944 г. КРН приняла решение направить через фронт в Москву полномочную делегацию во главе с Э. Осубкой-Моравским. Целью делегации было добиться международного признания КРН, установления отношения с Советским правительством, а также получить помощь оружием для АЛ от союзных держав и обеспечить подчинение польской армии в СССР «новой власти в стране». Уполномоченные КРН ознакомили Советское правительство с положением в стране и деятельностью КРН и АЛ, политической и социально-экономической программой КРН. Были обсуждены вопросы о признании Советским Союзом КРН и ее исполнительного органа, когда последний будет создан, о границе, вступлении Красной Армии на польскую территорию в ходе преследования отступающих немецко-фашистских войск, о взаимоотношениях между советским командованием и польской администрацией, о взаимодействии Красной Армии и польских вооруженных сил, экономической и военной помощи Польше. Советское правительство согласилось усилить помощь АЛ, стороны договорились обеспечить более тесную координацию действий АЛ и советских войск.

Советская сторона отнеслась с пониманием к программе КРН. Советское правительство разделило точку зрения ППР и КРН, что дела страны должны решаться в самой стране и необходимости подчинения ей Союза польских патриотов и Польской армии в СССР.

Советская сторона советовала в большей мере учитывать международную обстановку, необходимость расширения и укрепления политической базы польской демократии в частности, установления связей с демократическими элементами польской эмиграции на Западе.

В ходе переговоров Советского правительства с полномочной делегацией КРН были согласованы вопросы взаимных отношений в ходе войны и после нее, в том числе вопрос о границе между странами. Со вступлением Красной Армии на польские земли КРН создала свой исполнительный орган — Польский комитет национального освобождения — первое фактическое правительство трудящихся масс Польши. Возглавил его Э. Осубка-Моравский. В состав ПКНО вошли члены делегации КРН в Москве и представители Союза польских патриотов в СССР.

Революционные и демократические силы, руководимые ППР и сплотившиеся вокруг КРН, летом 1944 г. имели в своем распоряжении значительные вооруженные силы, опирались на поддержку Советского Союза и его армии-освободительницы, присутствие которой сковывало реакцию, предотвращало угрозу экспорта контрреволюции и иностранной интервенции и в то же время давало простор силам революции.

Красная Армия разгромила немецко-фашистский оккупационный аппарат. Задачей революционных сил Польши было завершить уничтожение низовых звеньев гитлеровского аппарата насилия и не допустить легализацию буржуазно-помещичьих органов власти, созданных в подполье, или ликвидировать их там, где они пытались легализоваться.

КРН и ПКНО действовали в обстановке ликования народа, избавившегося от пятилетнего ига германского фашизма, радикализации настроений широчайших масс, не желавших восстановления довоенных порядков. Работу КРН и ПКНО осложняли экономическая разруха и другие трудности. Национальное богатство Польши за годы войны уменьшилось на 38%. Не обрабатывалась половина пахотных земель, мало осталось скота и тягла. Две трети предприятий, треть жилого фонда страны были разрушены. Торговля дезорганизована, транспорт парализован, царил инфляция и финансовый хаос. Польский народ потерял 6 млн человек.

В результате оккупации и деятельности реакционного лагеря расширились националистические и шовинистические настроения в стране, усилились религиозность и влияние церкви. Наследием оккупации явилась деморализация некоторых слоев населения, особенно молодежи, деклассирование части рабочего класса при одновременном пополнении его за счет разорившихся представителей буржуазии, в основном, мелкой.

ППР, КРН и ПКНО опирались на поддержку большинства рабочего класса, беднейшего крестьянства и часть среднего, на определенные группы интеллигенции. Противостоял народным силам буржуазно-помещичий лагерь. Его организационными центрами оставались эмигрантское «правительство», делегатура и вооруженные отряды. После провала акции по захвату власти («Бужа») реакционные силы вновь ушли в подполье. Их поддерживала верхушка католической церкви. Социальной их опорой являлись буржуазия и помещики и часть мелкой буржуазии. Реакция оказывала влияние на некоторые слои рабочего класса и крестьянства.

22 июля 1944 г. ПКНО опубликовал манифест — основополагающий документ новой власти. Это была программа строительства новой Польши и участия страны в завершении разгрома фашистской Германии [4, с. 141—146]. Манифест заявлял, что власть в стране будет принадлежать лишь органам ПКНО, представлявшим интересы трудящихся. Манифест провозглашал восстановление демократических свобод, равенство всех граждан без различия национальности, расы и вероисповедания, свободу совести и печати, политических, профессиональных и иных организаций. Эти свободы, однако, не могли быть использованы против народной власти.

Манифест ПКНО призывал народ сплотиться для завершения освобождения страны и установления польских пограничных столбов на Одре и Балтике; для восстановления разрушенной войной и оккупацией экономики. Программа социально-экономических мероприятий предусматривала проведение аграрной реформы и передачу государству ключевых позиций в экономике. Крестьянам, торговцам, ремесленникам, средним слоям, различным организациям и институтам, в том числе церкви, гарантировалось возвращение захваченного у них гитлеровцами имущества;

собственность оккупантов и предателей подлежала конфискации. Осуществление этой программы означало ликвидацию основных эксплуататорских классов, нейтрализацию кулачества и части средней буржуазии. Выдвижение национального лозунга (конфискация собственности оккупантов) делала его приемлемым для всех слоев народа. Национализация промышленности была осуществлена в ходе освобождения страны советскими войсками органами ПКНО — сверху и фабрично-заводскими комитетами рабочих — снизу и юридически закреплена законом КРН от 3 января 1946 г. Аграрная реформа по декрету ПКНО от 6 сентября 1944 г. и закону КРН от 17 января 1944 г. была проведена в 1944 г. в так называемой Люблинской Польше, в начале 1945 г. — на территории, освобожденной в ходе зимнего наступления Красной Армии, в 1945—1950 гг. на возвращенных Польше ее западных землях.

Социально-экономические основы народной власти были заложены. Преобразования в области экономики создали основу для формирования государственного (социалистического) сектора в промышленности, а в сельском хозяйстве наряду с образованием государственного сектора произошло известное расширение мелкотоварного сектора.

Внешнеполитическая программа Июльского манифеста предусматривала прочный союз и добрососедские отношения с Советским Союзом. ПКНО заявлял о своей готовности поддерживать союзные отношения с западными странами антифашистской коалиции, со всеми демократическими государствами мира.

Осуществить программу манифеста невозможно было без национального единства. Создание КРН и ПКНО означало большие сдвиги в этом направлении. Важное значение приобретало привлечение всего Стронництва людового на сторону КРН и ППР. Связано это было с проблемой ликвидации признаваемого западными державами польского эмигрантского правительства. КРН согласилась вступить в переговоры о создании правительства национального единства только с левым крылом «лондонцев», представлявших средние слои. Конкретно, как говорил Б. Берут, речь шла о людовцах. Переговоры с ними шли трудно и долго и, наконец, в июне 1945 г. было достигнуто соглашение о создании Временного правительства национального единства, что означало ликвидацию польского эмигрантского правительства и его представительства в стране. Усилиями КРН на международной арене, поддержанной Советским правительством, буржуазный блок в Польше был разбит. Из «лондонского» лагеря КРН перетянула на свою сторону всех людовцев, всех социалистов, установила сотрудничество и с третьей партией — Стронництвом праці. Начинаясь трудный процесс отрыва шедших за Миколайчиком, Попелем, Зарембой и другими рядовых членов представляемых ими партий и фактическое включение их в состав руководимого ППР революционного Национального фронта. Классовые битвы, осложнявшиеся элементами гражданской войны, были ППР и КРН выиграны. В ходе борьбы на платформе манифеста ПКНО было достигнуто единство рабочего класса, крестьянства и интеллигенции, а миколайчиковская ПСЛ — центр притяжения антиреволюционных сил — была разгромлена. В результате внутренних изменений в партиях была создана трехпартийная система. Наряду с радами народowymi, остававшимися в тот период органами сотрудничества партий, с ноября 1944 г. был образован новый чисто политический институт межпартийного сотрудничества — согласительные комиссии.

Рады народные после освобождения включили в систему власти. А верховный орган национального фронта — КРН — превратился в парламент. Права рад постепенно расширялись. Партизанские формирования Армии Людовой, объединенные законом КРН от 21 июня 1944 г. с 1-й Польской армией, стали основой Войска Польского, гражданской милиции и органов госбезопасности, т. е. институтов, защищавших революцию.

Создание государственного сектора в экономике, определявшего ее развитие, позволило КРН в сентябре 1946 г. принять закон о трехлетнем плане развития народного хозяйства, который фактически вводил

социалистический принцип плановости экономики. Важнейшее значение имел закон КРН о референдуме, во время проведения которого (июнь 1946 г.) большинство народа одобрило основные положения будущей конституции об однопалатном сейме, хозяйственном строе, сложившимся после аграрной реформы, национализации основных отраслей экономики страны, с правом частной инициативы, о границах страны на Балтике, Одре и Нысе. Закон КРН от 22 сентября 1946 г. о выборах в Законодательный Сейм положил начало переходу к выборному порядку образования представительных органов.

17 января 1947 г. состоялись выборы в Законодательный Сейм Польской Республики. За лагерь революционных и демократических сил, руководимых ППР и сплотившихся вокруг КРН, отдали свои голоса 80,1% избирателей. Победа Национального фронта на выборах в Законодательный Сейм завершила первый период в истории народной Польши — период становления и упрочения власти трудящихся. С избранием Сейма завершилась деятельность КРН как верховного органа Национального фронта и парламента Польши.

ЛИТЕРАТУРА

1. W dziesiątą rocznicę powstania Polskiej Partii Robotniczej. Wybór dokumentów. Warszawa, 1952.
2. *Pawłowicz J.* Strategia Frontu Narodowego PPR. Warszawa, 1965.
3. Arhiwum ruchu robotniczego. T. 2. Warszawa, 1975.
4. Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. VIII. 1944—1945. М., 1974.
5. Kształtowanie się podstaw programowych Polskiej Partii Robotniczej w latach 1942—1945. Wybór materiałów. Warszawa, 1958.
6. *Парсаданова В. С.* Формирование Национального фронта в Польше. 1944—1946. М., 1972.



ПОП И. И.

СОВЕТСКО-ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ ДОГОВОР 1943 ГОДА И ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА ЧЕХОСЛОВАКИИ

Политика СССР в отношении Чехословакии, как и других государств Центральной и Юго-Восточной Европы, захваченных гитлеровской Германией, была четко сформулирована уже в телеграмме советскому послу в Лондоне от 3 июля 1941 г. В ней, в частности, указывалось, что СССР выступает за восстановление суверенного чехословацкого государства, а вопрос о его характере является внутренним делом народов страны [1, с. 423—424].

Главные принципы внешней политики СССР в отношении поработанных народов Центральной и Юго-Восточной Европы были сформулированы в декларации Советского правительства на межсоюзной конференции в Лондоне в сентябре 1941 г. В ней указывалось, что все народы и все государства, вынужденные вести навязанную им войну против гитлеровской Германии, должны добиваться скорейшего и решительного разгрома агрессоров, мобилизовать все свои силы на решение этой задачи. «Советский Союз,— указывалось в декларации,— отстаивает право каждого народа на государственную независимость и территориальную неприкосновенность своей страны, право устанавливать такой общественный строй и избирать такую форму правления, какие он считает целесообразным и необходимым в целях обеспечения экономического и культурного процветания своей страны» [2, с. 165]. Советское правительство выражало уверенность в том, что «в результате полной и окончательной победы над гитлеризмом будут заложены основы правильных и отвечающих желаниям и идеалам свободолюбивых народов отношений международного сотрудничества и дружбы» [2, с. 164—165].

Осуществление внешней политики СССР, в частности солидарность с освободительной борьбой угнетенных народов, имело первостепенное значение для Чехословакии, преданной западными державами в 1938 г., расчлененной и оккупированной в 1939 г.

Отношение Чехословакии к Советскому Союзу в период войны определяли два основных направления чехословацкого движения Сопротивления: первое, представленное КПЧ, руководствовалось в своей политике принципами пролетарского интернационализма, второе — буржуазное, — возглавленное Э. Бенешем. Начиная с первого подпольного воззвания 1939 г. и до первой правительственной программы, выработанной КПЧ и принятой в апреле 1945 г., коммунисты настойчиво и непоколебимо выдвигали союз с СССР как главный принцип внешней политики страны [3, с. 354, 365]. Именно они были творцами новой внешнеполитической концепции Чехословакии, нового понимания ее национально-государственных интересов и боролись за принятие ее самыми широкими кругами населения страны.

Позиция буржуазного лагеря по вопросам внешней политики и в особенности отношения к СССР не была ни однозначной, ни последовательной и не отражала настроений широких народных масс. Под влиянием внутренних и международных факторов правительство Чехословакии вынуждено было корректировать свой внешнеполитический курс, хотя основа его — ставка прежде всего на союз с западными державами — осталась неизменной вплоть до возникновения первого правительства Национального фронта чехов и словаков в апреле 1945 г. [4, с. 203].

По инициативе СССР 18 июля 1941 г. в Лондоне было подписано советско-чехословацкое соглашение, в соответствии с которым чехословацкое правительство признавалось представителем Чехословакии в ее домюнхенских границах. В соглашении указывалось, что обе стороны обменяются послами и будут оказывать друг другу всяческую помощь и поддержку в войне против гитлеровской Германии [5, с. 18—28]. Советско-чехословацкое соглашение означало фактическое и юридическое признание чехословацкого правительства и создавало основу для ликвидации последствий мюнхенского сговора. Оно побудило Англию и США к признанию чехословацкого правительства [5, с. 25—26, 31—32, 55]. «Благодаря этому соглашению,— указывал К. Готвальд,— Чехословакия снова вышла на международную арену как законно признанное самостоятельное государственное образование со всеми атрибутами государственной суверенности» [6, с. 307].

Этот шаг Советского правительства, а также героическая борьба Красной Армии с гитлеровскими полчищами оказали существенное влияние на расстановку политических сил внутри страны и в эмиграции. Возросла роль коммунистов в движении Сопротивления, а также в чехословацких представительных органах за рубежом. Коммунисты получили шесть мест в Государственном совете, несколько мест в министерствах и одно в редакции радиовещания [7, с. 150]. КПЧ могла оказывать извне воздействие на деятельность правительства и его органов.

КПЧ выступала за укреплению и расширение отношений с СССР, за заключение между СССР и Чехословакией долгосрочного договора, который покончил бы с односторонней англо-американской ориентацией страны [7, с. 257]. В своей политике коммунисты опирались на поддержку широких демократических слоев как в оккупированной стране, так и в эмиграции [5, с. 63—64, 94].

Учитывая новую обстановку, сложившуюся в результате разгрома гитлеровских войск под Сталинградом и Курском, чехословацкое правительство под давлением левых сил согласилось на подписание союзного договора с СССР [8, с. 49—50]. Советское правительство рассматривало такой договор как первую составную часть системы безопасности в Центральной Европе, безопасности СССР и освобожденных народов от возможной в будущем агрессии германского империализма. Такая система безопасности стала бы гарантией нового демократического развития стран Центральной Европы и исключила бы создание так называемого «санитарного кордона» вокруг СССР. С этим не могли согласиться в Вашингтоне и особенно в Лондоне. Выступая против заключения советско-чехословацкого договора, США и Англия пытались оказать давление на чехословацкое правительство и в особенности на президента Э. Бенеша [10, с. 189]. Поэтому Э. Бенеш всячески затягивал переговоры, а поездку в Москву осенью 1943 г. хотел превратить в бессодержательный визит «вежливости» и «доброй воли» [5, с. 89—90]. Такой визит должен был успокоить демократическую общественность, возмущенную бесконечными проволочками в переговорах о советско-чехословацком договоре. В связи с этим Советское правительство заявило, что если чехословацкое правительство не приняло окончательного решения, то поездка в Москву должна быть отложена [5, с. 93].

Под давлением демократических сил Э. Бенеш вынужден был продолжить переговоры с СССР и в течение лета 1943 г. проект договора был выработан. Несмотря на это дело с подписанием его не сдвинулось с места. Английское «вето» гипнотизировало чехословацких буржуазных деятелей,

и они продолжали утверждать, что договор с СССР может быть подписан только при согласии на это британского правительства [5, с. 118]. По существу чехословацкое правительство не рвалось осуществить свои суверенные права. Однако возможности для его маневрирования и проведения старой кабинетной политики все более ограничивались [11, с. 30].

В таких условиях Э. Бенеш обратился к Советскому правительству с просьбой оказать нажим на Англию, чтобы она дала согласие на заключение договора между Чехословакией и СССР [5, с. 122]. Это, естественно, вызвало возражение со стороны Советского правительства, считавшего, что речь идет исключительно о взаимоотношениях между СССР и Чехословакией, которые не касаются Англии. Однако, имея в виду просьбу чехословацкой стороны, Советское правительство на конференции министров иностранных дел СССР, Великобритании и США, проходившей в октябре 1943 г. в Москве, ознакомило представителей США и Англии с согласованным к тому времени проектом советско-чехословацкого договора. 24 октября советский представитель сообщил, что приезд Э. Бенеша задерживается вследствие возражений британского правительства против подписания договора. Министру иностранных дел Великобритании не оставалось ничего другого, как заявить, что он не имеет возражений против поездки Э. Бенеша в Москву для подписания договора [12, с. 168—171, 296—299].

12 декабря 1943 г. в Москве был подписан Договор о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве между СССР и Чехословацкой Республикой. Договор торжественно провозглашал, что Советский Союз и Чехословакия согласились взаимно сотрудничать в духе постоянной дружбы и взаимной помощи в военное и мирное время. На первый план в нем выдвигались задачи совместной борьбы против общего врага. Но он не ограничивался только этим — договор предусматривал меры по закреплению победы над фашизмом и обеспечению безопасности Советского Союза и Чехословакии в послевоенное время. Он устанавливал, что при послевоенном урегулировании будут выполнены справедливые требования Чехословацкой Республики, в особенности полная и окончательная ликвидация всех последствий Мюнхена. Обе договаривающиеся стороны ставили перед собой общую задачу впредь бороться за предотвращение новой агрессии германского империализма. Взаимную помощь они должны были оказывать друг другу немедленно и безусловно [5, с. 132—133]. Важное значение имели длительные сроки действия договора — 20 лет — и возможность его автоматического продолжения на последующие пятилетия [11, с. 32—33].

Советско-чехословацкий договор 1943 г. был важной вехой в борьбе между трудящимися и буржуазией Чехословакии по кардинальному вопросу — внешнеполитической ориентации, способной обеспечить национальное существование чехов и словаков [4, с. 218]. Советское правительство дало Чехословакии все те гарантии, которых ее правительство безуспешно добивалось на Западе в годы второй мировой войны. Договор 1943 г. означал победу внешнеполитической концепции тесной, искренней и нерушимой дружбы Чехословакии с Советским Союзом [11, с. 33]. Генеральный секретарь ЦК КПЧ К. Готвальд назвал его «событием в полном смысле слова историческим, поскольку этот договор закладывает прочную, нерушимую основу нашей будущей национальной и государственной жизни» [13, с. 24].

Советско-чехословацкий договор имел и более широкое значение для дальнейшего развития международных отношений в Центральной и Юго-Восточной Европе. Этот дипломатический акт навсегда покончил с планами реакционных центральноевропейских конфедераций и означал окончательное крушение концепции «санитарного кордона». Договор подтвердил новую роль Советского Союза в европейской и мировой политике как великой державы, регулирующей свои отношения с малыми государствами Центральной и Юго-Восточной Европы на принципах равенства и взаимной помощи. Это была одна из крупных побед совет-

ской дипломатии во время войны [14, с. 84]. Договор создавал международно-правовой прецедент и послужил в дальнейшем прообразом ряда других аналогичных договоров, в частности советско-югославского и советско-польского договоров. Вместе с тем он сыграл важную роль в дипломатической защите Советским Союзом интересов народов Центральной и Юго-Восточной Европы [15, с. 58].

Советско-чехословацкий договор способствовал активизации антифашистской борьбы в оккупированной Чехословакии. Он стал основой военно-политического союза СССР и Чехословакии в борьбе против нацистской оккупации, за восстановление независимости страны. В соответствии с ним Советский Союз оказывал всестороннюю военную и политическую помощь антифашистским силам Чехословакии в их борьбе за освобождение из нацистского порабощения.

Советско-чехословацкий договор нанес смертельный морально-политический удар клеро-фашистскому режиму марионеточной «Словацкой республики», закрепив новую перспективу общей государственности чехов и словаков. В «Рождественском соглашении» 1943 г. о создании Словацкого Национального Совета, подписанном всеми группами словацкого движения Сопротивления, указывалось: «Мы желаем тесного сотрудничества со всеми славянскими государствами и народами, в особенности с СССР, в котором мы видим гарантию свободной жизни и всестороннего развития малых народов. Будущая Чехословацкая республика должна проводить свою внешнюю политику в духе этих принципов, а поэтому во внешнеполитической и военно-политической сферах должна опираться на СССР» [16, с. 126].

Первое правительство Национального фронта чехов и словаков в своей программе, провозглашенной в Кошице 5 апреля 1945 г., указывало, что основную линию внешней политики Чехословакии будет определять чехословацко-советский договор 1943 г. При этом подчеркивалось, что союз с могущественным социалистическим государством создаст прочную основу безопасности и суверенитета Чехословакии. Правительство Национального фронта торжественно брало на себя обязательство существенно расширять взаимные связи между Чехословакией и СССР в военной, политической, экономической и культурной сферах [17].

Прогрессивные силы страны тесно связывали судьбу начавшейся национально-демократической революции с укреплением союза с СССР на основе договора. К. Готвальд указывал: «Судьба нашей народной демократии, революционных завоеваний, как и само существование нации и государственный суверенитет, тесно связаны с судьбой нашего союза с Советским Союзом. Только этот союз обеспечивает суверенитет нашего государства и строительство его в соответствии со свободной волей народа» [18, с. 205].

Трудящиеся Чехословакии в своей борьбе за развитие и углубление национально-демократической революции опирались на мощь и международный авторитет социалистического государства. В февральские дни 1948 г., когда реакция предприняла попытку повернуть развитие республики вспять, ярко проявилось значение союза с СССР в обеспечении суверенитета Чехословакии. Чехословакия уже не могла стать объектом манипуляции империалистических государств, как во времена Мюнхена. «Союз с СССР, его мощь и авторитет на международной арене не позволили империалистическим силам осуществить военную интервенцию в поддержку чехословацкой буржуазии. Тем самым были созданы благоприятные внешние условия для Февральской победы трудового народа над реакцией» [4, с. 270]. Сотрудничество с СССР, в основе которого был договор 1943 г., стало решающим внешнеполитическим фактором социалистического строительства в Чехословакии, гарантией ее независимости и суверенитета.

ЛИТЕРАТУРА

1. История внешней политики СССР 1917—1980 гг. Т. I. М., 1980.
2. Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Документы и материалы. Т. I. М., 1946.
3. История Чехословакии. Т. III. М., 1960.
4. Очерк истории Коммунистической партии Чехословакии. М., 1979.
5. Советско-чехословацкие отношения во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Документы и материалы. М., 1960.
6. *Gottwald K. Spisy, sv. XI, Praha.*
7. *Laštovička B. V Londýne za válku. Zapasy o novou CSR 1939—1945. Praha, 1960.*
8. *Белякин Л. Г.* Договор о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве между СССР и Чехословацкой Республикой 12 декабря 1943 г. (Из истории дипломатии второй мировой войны.) — Вестник Ленинградского ун-та, 20. История, язык, литература, вып. 4, 1972.
9. *Зебер Е.* Внешнеполитическая концепция СССР о демократическом мирном урегулировании в Европе в 1943—1945 гг. Первые двусторонние соглашения СССР с Чехословакией и Польшей.— В кн.: На путях нерушимой дружбы. М., 1977.
10. *Seeber E. Die Rolle der sowjetisch-tschechoslowakischen Vertragsverhandlungen im Jahre 1943 für die Gestaltung einer demokratischen Friedensordnung im Europa. Jahrbuch für Geschichte. Bd. 17, Berlin, 1977.*
11. *Прасолов С. И.* Советско-чехословацкий договор 1943 г. (К истории дипломатической подготовки.) — Советское славяноведение, 1965, № 1.
12. Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании (19—30 октября 1943 г.). Сборник документов. М., 1978.
13. *Готвальд К.* Избранные статьи и речи. М., 1970.
14. *Зорин В. А.* С Советским Союзом на вечные времена. (О развитии советско-чехословацких отношений в 1945—1948 гг.) — Новая и новейшая история, 1978, № 2.
15. *Волков В. К.* Защита Советским Союзом на международной арене интересов народов Центральной и Юго-Восточной Европы в годы второй мировой войны.— В кн.: На путях нерушимой дружбы. М., 1977.
16. *Slovenske narodne povstanie. Dokumenty. Bratislava, 1965.*
17. *Program prvé domáci vlady republiky, vlady Národní fronty Čechů a Slováků. Sbirka dokumentů ministerstva informací. Praha, 1945.*
18. *Rozhodující střetnutí. Praha, 1973.*



МИХУТИНА И. В.

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В БОРЬБЕ ПРОТИВ УГРОЗЫ ФАШИСТСКОЙ АГРЕССИИ, ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ

В период между двумя мировыми войнами фашистская опасность в странах Центральной и Юго-Восточной Европы исходила из нескольких источников. Особенностью внутривосточного развития расположенных здесь стран было относительно позднее — как правило, после первой мировой войны, т. е. в условиях общего кризиса капитализма — становление государственно-политических систем буржуазно-демократического типа и весьма короткий период их функционирования.

Частичная стабилизация капитализма протекала в этой части континента уже под знаком подавления либеральных и демократических начал. Это выражалось не только в широко практикуемом терроре против революционных сил, но и в общей эволюции к авторитарной государственности.

Обращаясь к вопросу о характере утвердившихся здесь в 20—30-е годы антидемократических режимов, важно иметь в виду, что в истории Центральной и Юго-Восточной Европы длительное время, вплоть до наступившего после первой мировой войны революционного подъема, преобладали недемократические, авторитарные государственные формы старого типа. Они представляли политическую надстройку запоздалого, медленно растущего капитализма, отягощенного в экономическом и социальном строе пережитками более ранних общественно-экономических формаций. Сохранение этих пережитков вследствие экономического застоя, характерного для данного региона в межвоенный период [1], а также сложившаяся ранее привычка имущих классов осуществлять свою власть в рамках авторитарных государственно-политических систем, по-видимому, послужили исходным импульсом и питательной средой для возврата в большинстве из рассматриваемых стран, после короткого периода демократизации, вызванной революционным подъемом, к авторитарному правлению.

Вместе с тем нельзя не учитывать, что этот процесс развернулся одновременно с обращением имущих классов некоторых западноевропейских государств к фашизму, породившему особую разновидность авторитарной диктатуры. Фашизм возник на социально-политической основе развитого монополистического капитализма [2; 3, с. 89—90; 4; 5, с. 213—222, 271—278]. Но и в социально-экономическом строе рассматриваемых стран при всей незавершенности в них капиталистических преобразований проявлялись признаки монополистической стадии капитализма, что не могло не влиять на характер и облик утвердившихся там антидемократических диктатур (подробнее см. [3, с. 70—100; 6]).

Эффективность применявшегося фашизмом на Западе метода классово-

вого господства стимулировала стремление реакционных диктатур в регионе освоить фашистский государственно-административный и общественно-политический опыт, что стало особенно заметно в 30-е годы. Существование автократических государственных форм обуславливало нарастание и здесь фашистской опасности.

Наряду с насаждением фашизма сверху, административно-бюрократическим путем, фашистскую опасность в этой части континента несли не допущенные к власти правые экстремистские группировки, которые в течение 30-х годов оформились в партии и «движения» определенно фашистского типа и претендовали на выполнение тех функций по организации в реакционных целях широких слоев населения, которые были недоступны автократической государственной власти, по-старому опиравшейся на стоявший как бы вне общества аппарат принуждения [5, s. 272—273]. Уместно заметить, что ни одной из оппозиционных группировок фашистского толка в регионе не удалось до начала второй мировой войны обеспечить себе политическую гегемонию или слиться с находившимися у власти реакционными кругами, чтобы сколько-нибудь широко реализовать тоталитарные устремления в государственном управлении и, что особенно важно, в сфере влияния на общественно-политическую жизнь с целью их реорганизации по фашистскому образцу [7]. Все это, по-видимому, свидетельствовало об ограниченности масштабов фашизации государственно-политических систем, связанной с относительной слабостью фашистских сил внутри стран региона.

Но фашистская опасность в регионе проявлялась также извне, в виде экспансии итальянского и особенно германского фашистских государств, чьи захватнические намерения в этом направлении не вызывали серьезного сопротивления на Западе. Общность региональных интересов, возросшая в связи с такой опасностью, мало принималась в расчет в недалекой внешней политике реакционных режимов. Они, руководствуясь идеологическими мотивами и узко понимаемыми классовыми целями, как правило, исключали перспективу борьбы против фашистской агрессии совместно с таким потенциальным союзником, как СССР. Важной причиной региональной разобщенности были противоречия между отдельными странами, обусловленные территориальными претензиями к соседям.

По мере обострения международной обстановки становилось очевидным, что агрессивность германской и итальянской фашистских держав представляла для народов Центральной и Юго-Восточной Европы еще более разрушительный фактор, чем внутренняя реакция. Естественно, что в таких условиях проблема предотвращения фашистской агрессии против стран региона и защита их национального суверенитета стали в фокусе борьбы рабочего класса и его революционного авангарда, выступавшего как наиболее последовательная антифашистская сила.

Для отдельных стран внешняя фашистская опасность проявлялась с разной степенью остроты и принимала неодинаковые формы. В одних случаях, обычно там, где имелись территориальные и иные претензии фашистских держав, она в конечном счете предопределила перспективу военного вторжения, хотя на первых порах нацисты и итальянские фашисты (пока не располагали достаточной армией) маскировались пацифистской фразеологией и с помощью ловких дипломатических маневров старались рассеять подозрения своих будущих жертв. Красноречивым примером подобной тактики явилась германо-польская декларация о ненападении 1934 г. На VII конгрессе Коммунистического Интернационала была дана исчерпывающая по точности характеристика пагубных для Польши последствий этого соглашения. Заключив его, подчеркивал видный деятель международного коммунистического движения П. Тольятти в докладе, посвященном вопросам борьбы против военной опасности, «германский национал-социализм ни на йоту не отказался от своих антипольских требований». И в то же время непосредственным следствием этого соглашения стало усиление германской угрозы Чехословакии и прибалтийским странам, обострение австрийской проблемы и в конечном

счете — угроза независимости самой Польши [8, с. 242]. В других случаях имело место интенсивное проникновение в национальную экономику более сильных германского или итальянского капиталов, опутывавших ту или иную страну прочной сетью материальной зависимости¹. В третьих — пружиной механизма подчинения служили ложные политические расчеты правящих кругов стран, недовольных итогами первой мировой войны, добиться под покровительством Германии удовлетворения своих территориальных требований. Германия же, заинтересованная в максимальном разобщении стран Центральной и Юго-Восточной Европы, поощряла их взаимные претензии.

Однако, какой бы скрытый, завуалированный формами мнимого партнерства, характер ни носила первоначально политика нацистской Германии, в ней заключалась прямая угроза независимости и самому государственному существованию народов Центральной и Юго-Восточной Европы, ибо через эту часть континента пролегло магистральное направление фашистской агрессии против Советского Союза, к которой гитлеровскую Германию подталкивали и западные империалисты. Своим соглашением с Гитлером, заключенным в Мюнхене в сентябре 1938 г., они открыли путь к установлению германской гегемонии в Центральной и Юго-Восточной Европе.

В то же время подобная поляризация сил на европейской арене превратила Советское государство в самого надежного и сильного потенциального союзника этих народов в борьбе против общего врага.

Коммунистическое движение еще на ранней стадии подготовки фашистских держав к войне обратилось к анализу созданной этим фактом новой международной обстановки. В работе VII конгресса Коминтерна особым пунктом повестки дня стоял вопрос о «задачах Коммунистического Интернационала в связи с подготовкой империалистами новой войны». С докладом по нему выступил П. Тольятти. При рассмотрении этого вопроса было установлено, что наличие европейского очага военной опасности оказывает решающее влияние на международное положение стран Центральной и Юго-Восточной Европы и на расстановку в них внутренних сил, а также на пути и формы сопротивления фашизму. VII конгресс Коминтерна пришел к заключению, что обострение империалистического соперничества ведет к разрушению сложившейся системы международных отношений, что главным поджигателем империалистической войны в Европе является германский национал-социализм, наиболее агрессивная, как было подчеркнуто, разновидность фашизма [8, с. 231—241; 11, с. 382—383].

Коммунистическое движение выражало тревогу по поводу последствий для всех стран Центральной и Юго-Восточной Европы политики западных держав, проявленной в мюнхенском соглашении Англии и Франции с нацистской Германией и фашистской Италией. «Мюнхенский договор, — говорилось в воззвании Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала по случаю 21 годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, — это не только удар по Чехословакии. Это гораздо более широкий империалистический заговор. Это заговор против малых народов, которые Англия и Франция выдают с головой фашистским захватчикам» [12].

Наряду с важным выводом, что основным направлением внешней политики гитлеровской Германии является война против СССР, в документах конгресса констатировалось, что политика нацистов обращена на подчинение Германии малых и средних государств в Центральной и Юго-Восточной Европе и победоносная война германского фашизма означала бы конец их национальной независимости [8, с. 245]. П. Тольятти в своем докладе подчеркивал, что активность Германии направлена на разложение имевшихся в Центральной и Юго-Восточной Европе группировок и полное подчинение политики расположенных там стран своему влиянию,

¹ Подробно об экономической экспансии Германии в Центральную Европу и на Балканы см., например, [9; 10].

и обращал внимание на тот факт, что пособничество Гитлеру оказывают реакционные и фашистские силы внутри этих стран [8, с. 242—243]. Первостепенное значение для развертывания в Центральной Европе и на Балканах борьбы против угрозы германской агрессии имели выводы конгресса о роли Советского Союза в деле сохранения мира, об освободительном характере войны со стороны государств, подвергшихся нападению крупных империалистических держав, об активной роли коммунистов в защите национальной независимости своих стран. «Мирная политика СССР, — говорилось в резолюции конгресса, — не только расстроила планы империалистов, направленные к изоляции Советского Союза, но и заложила основу для его сотрудничества в деле сохранения мира с малыми государствами, для которых война, угрожая их независимости, представляет особую опасность» [11, с. 385—388].

Задача борьбы против подготовки войны заняла важное место в стратегической линии коммунистического движения. В этой борьбе были заключены, как говорилось в резолюциях VII конгресса, «максимальные возможности для создания широчайшего единого фронта». Представляется, что эта формулировка заслуживает быть особо отмеченной, как свидетельство того, что в теоретической мысли коммунистического движения концепция антифашистского народного фронта с самого начала несла в себе идею перерастания в более широкие межклассовые союзы, а в период второй мировой войны, когда в странах Центральной и Юго-Восточной Европы господствовали внешние фашистские силы, была успешно реализована в национальных фронтах.

В 30-е годы тормозом применения эффективных мер безопасности в данном регионе была политическая гегемония реакционных кругов крупной буржуазии и ее союзников, осуществлявших, как правило, неконтролируемую представительными органами власть. Диктаторские правительства, хотя и выдвигали лозунг национальной консолидации перед внешней опасностью, использовали его для усиления репрессивного аппарата, стремясь тем самым не сплотить патриотическую общественность, а изолировать и подавить ее демократическую часть. Подрывало идею национальной консолидации и попустительство правительств тем оппозиционным фашистским группировкам, которые прямо ориентировались на нацистскую Германию и фашистскую Италию и связывали с поддержкой этих держав свои планы овладения властью.

Замкнутый характер режимов, обеспечивавший господство правых, антисоветски настроенных кругов, мешал выбору этими странами верной внешнеполитической ориентации и надежных союзников. Распатывала их международные позиции и тенденция реакционных, лишенных широкой общественной опоры правительств воспользоваться в погоне за сиюминутными пропагандистскими эффектами агрессией фашистских держав для удовлетворения собственных территориальных претензий. Ослабляла узы государственного единства и политика национального гнета, характерная для стран многонационального состава. Прямой агентурой гитлеровцев становились здесь реакционные организации немецкого национального меньшинства [13]. Подобную роль выполняли также некоторые другие националистические течения фашистского толка.

Учитывая пагубное действие этих факторов, революционное крыло рабочего движения накануне второй мировой войны рассматривало защиту независимости стран Центральной и Юго-Восточной Европы в прямой связи с проблемой восстановления и расширения демократии.

Социал-реформистские же партии в этом, как и в других вопросах антифашистской стратегии², из-за присущего им оппортунизма оказались в фарватере политики буржуазии. После отклонения выдвинутой коммунистическим движением идеи народного фронта лозунг национальной консолидации стал фактически в устах правых лидеров социал-демократии призывом к примирению с реакционными правительствами, к одобрению

² Более подробно о политике социал-демократии стран Центральной и Юго-Восточной Европы см. [14].

их шовинистических акций на международной арене, свертыванию активности трудящихся масс, к классовому миру. Основным инструментом антивоенной политики руководимые правыми социал-реформистские партии считали Лигу Наций и другие международные организации, находившиеся под эгидой западных держав. В односторонней ориентации на Запад они необоснованно видели достаточную гарантию от фашистской агрессии.

Несостоятельность такой ориентации особенно наглядно проявилась в деятельности социал-реформистских партий Чехословакии, ибо парламентский строй и участие в правительстве позволяли им сыграть действительную роль в защите суверенитета и целостности государства. Но эта возможность была загублена их оппортунистическими лидерами. На словах они осуждали агрессию и фашизм, но на деле вместе с буржуазными партиями противились эффективному антифашистским мерам³.

Поскольку фашистскую опасность Чехословакии несли прежде всего военные планы нацизма, проблема отражения агрессии с середины 30-х годов заняла важное место в деятельности революционной партии чехословацкого пролетариата. «Позиция Коммунистической партии в деле угрозы Чехословакии со стороны гитлеровского фашизма, — говорил К. Готвальд на VII съезде Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) в апреле 1936 г., — является позицией защиты Чехословакии против Гитлера, защиты Чехословакии против фашизма» [16, с. 449]. Партия исходила из того, что в условиях превосходства агрессора в людских и материальных ресурсах недостаточно обычных оборонительных мероприятий буржуазного правительства. Необходимо, чтобы активную роль в обороне могли сыграть патриотические силы. Их мобилизация, говорили коммунисты, возможна только на основе «такой политики, такого внутреннего режима, который отвечал бы социальным, экономическим, политическим и национальным интересам этих широких слоев» [17, с. 16]. В начале 1936 г. депутаты-коммунисты внесли в парламент проект закона, который в случае его принятия повысил бы заинтересованность широких общественных слоев в энергичной оборонительной политике. В проекте предлагалось отнестись расходы по обороне на богачей, национализировать военные предприятия, разделить крупные латифундии в пограничных областях между крестьянами и сельскохозяйственными рабочими, принять действенные меры против внутренней реакции и агентуры иностранного фашизма, провести демократизацию армии и организовать военное обучение гражданского населения [17, с. 12—13].

Национальное неравенство, с самого начала бывшее свидетельством ущербности демократии в буржуазной Чехословакии, в условиях внешней опасности жестоко мстило за себя ослаблением государственного единства. Ясно понимая, что только демократическое разрешение национального вопроса может остановить этот процесс, КПЧ добивалась от правительства и парламента принятия мер по осуществлению гражданского равноправия, устранению фактического неравенства и всестороннему развитию национальных меньшинств, подчеркивая, что их отношение к республике приобретает исключительное значение для судеб Чехословакии. Наряду с постановкой в парламенте законодательных предложений КПЧ была инициатором массовых выступлений трудящихся за национальное равноправие, организуя их не только в национальных областях, но и в Чехии [18; 19; 20].

Программа, выработанная VII съездом КПЧ, создала идейную основу превращения партии из авангарда пролетариата в ведущую силу всех населявших республику народов. Залог осуществления этой программы Компартия видела в единстве пролетариата и всех патриотических кру-

³ Характерно, например, что социал-демократическая партия Чехословакии, выступив в печати с осуждением фашистского мятежа и германо-итальянской интервенции в Испании, в то же время в составе правительственной коалиции поддержала присоединение Чехословакии к провозглашенной западными державами политике «невмешательства», хотя Испанская республика, отражая натиск фашизма, была жизненно заинтересована в получении оружия из Чехословакии [15].

гов. На съезде подчеркивалось, что если рабочий класс станет единым и социалистические партии выступят совместно; то непременно будет образовано правительство народного фронта, которое преградит путь фашизму и сделает все необходимое для защиты республики [21, s. 171]. Лидеры же социал-демократической и национально-социалистической партий в составе буржуазного правительства стремились не допустить общенародного движения за отпор агрессору. Ради сохранения правительственной коалиции они уступали внутри нее давлению правых сил, которые в свою очередь намеревались разрядить напряженность путем компромисса с фашистскими сепаратистами [21, s. 175; 22, s. 109—126].

В критической обстановке 1938 г., когда в связи с аншлюсом Австрии гитлеровская армия оказалась у границ Чехословакии, подстрекаемые Гитлером сепаратисты из немецкого национального меньшинства предъявляли все новые провокационные требования, а западные державы оказывали на чехословацкое правительство дипломатическое давление в пользу фашистской Германии. Коммунистическая партия добивалась организации защиты республики на подлинно демократической основе. Она вновь предлагала в парламенте программу разрешения в интересах обороны назревших внутренних проблем, требовала не допускать уступок провокационным притязаниям фашистов и выступила инициатором массового патриотического движения, которое одно только и могло бы обеспечить эффективность оборонительных мероприятий против превосходящих сил противника. Деятельность КПЧ сыграла немалую роль в создании той обстановки патриотического подъема, с которым прошла в Чехословакии частичная мобилизация в период майского кризиса и всеобщая мобилизация накануне мюнхенского соглашения. В те дни ЦК КПЧ призывал рабочий класс и всех трудящихся, все нации республики, все политические партии «создать прочное и нерушимое единство независимо от политической и национальной принадлежности..., подчинить свои партийные интересы общим интересам: сохранению мира, безопасности, целостности и независимости республики» [16, с. 516]. Считая ядром патриотического движения рабочий класс, КПЧ тем более настойчиво повторяла свои предложения о совместных действиях, обращенные к реформистским рабочим партиям, что на прошедших в июне 1938 г. муниципальных выборах коммунисты, социал-демократы и национальные социалисты в ряде мест получили большинство голосов. Однако лидеры социал-реформизма не только отклонили эти предложения, но в составе правительства старались всеми средствами — вплоть до запрета собраний и манифестаций — не допустить массового движения, тщетно надеясь, что это поможет политическому урегулированию разгоравшегося конфликта. Такая позиция руководства реформистских рабочих партий облегчила капитуляцию чехословацкой буржуазии перед внешними империалистическими силами [22, s. 117—118; 23].

В Польше угроза национальной независимости и самому государственному существованию, таившаяся в захватнических целях нацистской Германии, усугублялась внешней политикой режима «санации». Его деятели, недооценивая агрессивность гитлеризма, без каких бы то ни было реальных оснований надеялись на дипломатическое урегулирование отношений с Германией [24]. Ради этого, а также следуя своему традиционному курсу антисоветизма, они изолировали Польшу от миролюбивых и неагрессивных государств, союз с которыми, будь он заключен, увеличил бы силу сопротивления агрессии. Такая внешнеполитическая линия беспокоила самые широкие общественные круги. Но наиболее последовательной в ее критике была Коммунистическая партия Польши (КПП). В своих документах и пропагандистских материалах она показывала, что маневры правительства, проводимые под фальшивыми лозунгами «независимости» польской политики, не только превращают страну в орудие антисоветских происков гитлеровцев, но и усиливают опасность германской агрессии против самой Польши. Вскрывая беспочвенность иллюзий правящих кругов относительно ограничения гитлеровских «интересов» направлением территориальной экспансии исключительно на юго-восток,

польские коммунисты подчеркивали, что претензии к Австрии и Чехословакии не мешают нацистам «нащупывать западные границы Польши» [25, s. 93]. Компартией была представлена программа внешнеполитических мер по укреплению независимости: полное прекращение сотрудничества с Германией, подписание пакта коллективной безопасности с СССР, Чехословакией и Францией, включение Польши в блок миролюбивых государств. Возмущение широких слоев народа прогерманской ориентацией правительства она использовала как веский аргумент в пользу ликвидации «санационного» режима [25, s. 92, 99—100; 26; 27, s. 175]. Правящая же группировка, учитывая глубину патриотических чувств народа, выдвинула лозунг «национальной консолидации во имя защиты отечества», с помощью которого намеревалась дискредитировать оппозицию, обвинив ее в подрыве «единства нации». В таких условиях КПП, чтобы не позволить «санации» привлечь массы псевдопатриотической демагогией, стала активно участвовать в организуемых под эгидой правительства массовых мероприятиях, используя их как легальную возможность для пропаганды патриотизма и защиты национальных интересов в духе идей народного и широкого демократического фронта [28, s. 292—294]. По мере роста военной опасности и увеличения зависимости от Германии в связи с претензиями «санационного» правительства на участие в перекройке карты Европы Компартия поставила изменение внешней политики как центральную задачу антифашистской борьбы, как «проблему бытия или небытия Польши». В документах 1938 г. ЦК КПП предлагал широкое демократическое объединение, создание «исполнительного комитета всех партий и общественных, профсоюзных и политических организаций, стоящих на демократической почве, с целью координации их действий» и призывал к образованию «правительства доверия народных масс, правительства спасения Польши» [27, s. 307—308]. Этот лозунг, как подчеркнуто в обобщающем труде по истории польского рабочего движения, показывал, что «в критические для страны месяцы накануне гитлеровского нападения на Польшу Коммунистическая партия окажется способной развивать единственно правильную стратегию антигитлеровского национального фронта, реализованного под руководством рабочего класса» [29, s. 536].

Польская социалистическая партия (ППС) также была обеспокоена опасностью гитлеровского нападения и требовала изменения внешней политики и восстановления парламентской системы. Но если КПП считала, что удовлетворить эти требования можно только опираясь на массовые действия — общенациональную политическую стачку [28, s. 385], то ППС адресовала свои предложения правительству, тщетно надеясь на уступки с его стороны.

После необоснованного роспуска Компартии ППС стала главным организованным политическим центром рабочего движения. Коммунисты оказывали ей поддержку в таких политических акциях, как выборы в органы самоуправления, участие в демонстрациях 1 Мая и т. д. Однако роспуск Компартии ослабил в ППС позиции левых, сторонников рабочего фронта. Правое же руководство, выдвинув лозунг ликвидации коммунистического влияния в массах, запретило сотрудничество с коммунистами и прием их в ряды ППС [29, s. 548; 30, s. 314, 358].

С обострением международного положения ППС, наряду с другими партиями легальной оппозиции, сняла проблему ликвидации «санационного» режима, хотя разрешение ее, как отмечается в польской исторической литературе, было важным не только для внутреннего положения Польши, но могло бы повлиять и на политическую ситуацию в Европе [30, s. 308]. Сблизив свою позицию с точкой зрения правительства в вопросе «национальной консолидации», ППС перешла к фактическому признанию территориальных претензий Польши и захвата Тешинской Силезии, совершенного в тени гитлеровской агрессии против Чехословакии, упрекая правительство лишь за грубые методы этих «приобретений» [31, s. 108—109].

Только в дни гитлеровского нападения на Польшу социалисты вместе

с коммунистами во главе рабочего класса оказали мужественное сопротивление фашистскому агрессору [29, с. 561—563].

На Балканах и в Дунайском бассейне, где гитлеровская экспансия первоначально была замаскирована неравноправными торговыми, экономическими и другими отношениями, компартии выступили с разоблачением всех форм закабаления их стран нацистской Германией. Еще на ранних стадиях экономического проникновения гитлеровцев в Юго-Восточную Европу они доказывали, что, несмотря на сиюминутные кажущиеся выгоды (Германия делала здесь по высоким ценам большие закупки сельскохозяйственных продуктов, не находивших сбыта на других рынках), такая политика грозила превратить Балканские страны в аграрно-сырьевые придатки третьего рейха, ибо клиринговая система позволяла нацистскому правительству расплачиваться со своими торговыми партнерами не валютой, а залежалыми товарами. Коммунисты разоблачали приемы нацистов, направленные на постепенное подчинение балканских и дунайских стран и их внутреннее ослабление [32; 33]. Одним из важнейших средств сопротивления германской и итальянской экспансии и вмешательству западных держав компартии считали консолидацию балканских стран на платформе общности региональных интересов. После аншлюса Австрии, открывшего Германии путь на Балканы, компартии расположенных там стран пришли к выводу о возросшей актуальности общевосточного сотрудничества, в том числе и на основе имевшихся между балканскими странами соглашений при условии их перестройки по принципу коллективной безопасности, равноправия всех партнеров и исключения насильственных способов разрешения споров.

Компартии были в своих странах главными политическими центрами, которые в полной мере оценивали и самоотверженно пропагандировали роль Советского государства как ведущей антивоенной и антифашистской силы. Призывая к сплочению народов, находившихся под угрозой фашистской агрессии, коммунисты доказывали, что наибольшего успеха в защите своей независимости малые страны смогут достичь, опираясь на поддержку СССР.

Но реакционные правительства балканских стран, опутанные сетью зависимости от империалистических держав, оказались неспособными на проведение такой политики. «Первые же симптомы воздействия мюнхенского сговора,— пишет советский исследователь международных отношений в Центральной и Юго-Восточной Европе,— проявились в усилении у них стремлений к нейтралистской позиции, в желании остаться в стороне от конфликтов группировок великих держав, тяге к маневрированию между западными державами и фашистскими государствами. Такая реакция свидетельствовала о том, что правящие круги балканских стран не сделали для себя соответствующих выводов относительно истинного смысла мюнхенского сговора, не поняли того, что он открыл фашистским государствам, в первую очередь гитлеровской Германии, путь к войне, и судили о нем с точки зрения своего эгоистического понимания национально-государственных интересов, не отдавая отчета в том, что на карту поставлен вопрос о независимости и государственном существовании их стран» [34, с. 177].

Международный кризис, вызванный мюнхенской политикой великих держав, не только поколебал внешнеполитические позиции государств Центральной и Юго-Восточной Европы, способствуя их перегруппировке и изменению ориентации, но оказал глубокое влияние на внутреннее положение в этих странах. Международные события всколыхнули здесь мощную волну национализма, на гребне которой в разнообразных формах, но повсеместно с уклоном вправо, происходило сближение всех буржуазных течений.

Прежде всего активизировались, увидев для себя новые перспективы, те правые оппозиционные силы, которые с самого начала ориентировались на поддержку фашистских держав. И хотя это вело к обострению отношений между правозэкстремистскими организациями и правящими режимами, последние, чтобы нейтрализовать пропагандистское влияние

фашистской оппозиции, как бы «перехватить ветер с ее парусов», нередко сами перенимали и претворяли в жизнь некоторые из программных требований экстремистов, углубляя тем самым фашизацию государственно-политических систем [7, с. 24—26].

С другой стороны, значительные круги нефашистской буржуазной оппозиции, прежде ориентировавшиеся на западные державы, стали склоняться к официальной внешнеполитической ориентации, усиливая этим правящие режимы. Сдвиг вправо в буржуазных кругах балканских стран накануне второй мировой войны осложнил и без того нелегкие здесь условия рабочего движения.

Балканы раньше многих других регионов стали сферой прямого насилия фашистских государств. В апреле 1939 г. Италия оккупировала Албанию, которую, создав там марионеточное правительство, намеревалась использовать в войне против других стран Балканского полуострова. В октябре следующего года жертвой итальянского нападения стала Греция. Поскольку правительство И. Метаксаса проявило решимость в соприкосновении агрессии, Компартия, подчеркнув национально-освободительные цели войны, призвала народ к самому широкому участию в ней. Такая позиция Коммунистической партии Греции была одобрена руководством Коминтерна [35]. Одновременно в связи с тем, что итальянские войска вскоре были вытеснены из Греции и война продолжалась на территории Албании, Исполком Коминтерна предостерегал греческих коммунистов, чтобы это не привело «к установлению чужеземного, греческого, господства над албанским народом» [36].

В условиях активизации германской экспансии в юго-восточном направлении внешняя политика Югославии, осуществлявшаяся реакционной правящей группировкой, фактически свободной от контроля представительных органов власти, эволюционировала от союза с Францией и странами Малой Антанты, заинтересованными в территориальном status quo, к сближению с Германией. Взяв курс на непотивление агрессивным актам гитлеровцев против союзников Югославии и на ближайших подступах к ее собственным границам, реакционное правительство тщетно надеялось тем самым оградить страну от военного конфликта.

Подобным образом во внутренней политике — вместо того, чтобы путем демократизации государственно-политической системы и, в частности, разрешением национального вопроса лишить питательной почвы сепаратизм и другие центробежные факторы, распатывавшие многонациональное государство, правительство стремилось к объединению всех унитаристских и антидемократических сил, что в условиях активизации националистических течений оборачивалось только ослаблением государственного единства.

Партии же буржуазной оппозиции, хотя формально и достигли в 1937 г. объединения в Блоке народного согласия, но оно не подкреплялось ни принятием конкретной программы действий, ни единством взглядов и целей: хорватская часть Блока, так называемая Крестьянско-демократическая коалиция, отказалась от выдвижения демократических и социальных требований, нацелившись на решение хорватского вопроса любым способом. Сербская Объединенная оппозиция формально взяла на себя поста новку демократических требований, но сама, эволюционируя вправо (отклонение идеи народного фронта и сотрудничества с КПЮ, сближение с партиями буржуазной реакции), оказалась неспособной последовательно бороться за них [37].

В вопросах внешней политики Блок народного согласия не только не выдвинул согласованной и цельной альтернативы официальному курсу, но после мюнхенских решений вообще отказался от критики правительства в этом плане [34, с. 214—215]. Маловлиятельная Социалистическая партия Югославии, круто повернув в этот период вправо, во всем следовала за буржуазной оппозицией [38].

Только Коммунистическая партия, выражая готовность поддержать Блок народного согласия, предлагала всем демократическим, нефашистским, патриотическим группировкам конкретную программу. Она призвала к ликвидации антинародного режима и созданию правительства на-

циональной обороны, которое, приняв меры по демократизации строя, улучшению материальных условий трудящихся, могло бы опереться на рабочий класс и все демократические и патриотические силы и организовать эффективную защиту от агрессии [39]. Важнейшим фактором консолидации перед внешней опасностью КПЮ считала демократическое разрешение национального вопроса, не сводя его, как это делала буржуазная оппозиция, к хорватскому вопросу, но учитывая чаяния всех национальностей, населявших страну [40]. Вместе с тем она решительно осуждала национализм и шовинизм и энергично выступала против сепаратистских движений, игравших на руку потенциальному агрессору. Коммунисты считали гибельной политику капитуляции перед фашистскими государствами, но одновременно видели опасность и в односторонней ориентации на западные державы. Они настаивали на сотрудничестве с государствами, готовыми сопротивляться фашистскому вторжению и уважающими суверенитет и подлинные интересы Югославии, требовали нормализации отношений с Советским Союзом и заключения с ним пакта о взаимной помощи. После начала второй мировой войны Компартия шла во главе сил, готовых к отпору фашистской агрессии. Активная позиция создала КПЮ большой авторитет в патриотических кругах, которые, благодаря всенародной поддержке, весной 1941 г. не допустили подготовленного правительством присоединения Югославии к блоку фашистских государств [41; 42]. Таким образом, в труднейших условиях подполья КПЮ сумела стать единственной тогда общегославской партией и выдвинуть программу, выражавшую демократические, социальные, национальные требования самых широких слоев населения [43]. Закономерным результатом ее антивоенной патриотической деятельности и усилий по организации народного фронта в предвоенный период была та ведущая роль, которую она сыграла в формировании и победе широкого национального фронта народов Югославии.

Проблемы внешней политики Болгарии, хотя их решение находилось в руках диктаторски правившей монархической группировки, стали накануне второй мировой войны предметом острой внутривосточной борьбы и выявили новые линии раздела на политической карте страны. Пробным камнем этой дифференциации стало отношение к начатой фашистской Германией при попустительстве западных держав насильственной ломке европейского *status quo*.

В то время как прогрессивная общественность была тревогу по поводу аншлюса Австрии и назревавшего чехословацкого кризиса, выражала симпатии и готовность прийти на помощь народу Чехословакии [44], буржуазные круги увидели в мюнхенском стоворе не акт гитлеровской агрессии под покровительством западных держав, а образец якобы мирного разрешения конфликта, что, по их мнению, должно было стимулировать начало пересмотра тягостных для Болгарии условий Нейского мира. При этом, если правительство, проявляя осторожность, лавировало между Германией и Англией, выжидая удачного момента для постановки своих требований [45], то в не связанных с правительством буржуазных кругах Мюнхен всколыхнул волну воинствующего национализма.

Громко требовали прямого сотрудничества с Германией в достижении «национальных идеалов» и осуществлении болгарской гегемонии на Балканах оппозиционные правозэкстремистские группировки, яростно нападавшие на правительство за его пассивность во внешней политике. Как ни парадоксально, но с аналогичной критикой официального курса и призывами потребовать в полный голос решения проблемы болгарских национальных меньшинств в соседних странах выступили и многие партии нефашистской буржуазной оппозиции. Правда, они ожидали поддержки Болгарии в этом вопросе со стороны западных держав.

Концентрация внимания буржуазных кругов на националистических требованиях была выгодна правительству, чьи цели во внешней политике в принципе не расходились с этими требованиями, ибо они отвлекали внимание от наболевших внутренних проблем и вели к разобщению нефашистских и демократических сил, ослабляли тенденцию народного фронта [46, с. 235]. Конечно, внутри буржуазной общественности точка

зрения демократических групп и левых течений, а также входившей в буржуазный оппозиционный блок социал-демократии не отождествлялась с позицией правых сил. Первые, хотя и не отрицали политику в духе Мюнхена, но видели опасность в ориентации на Германию и в росте экономической зависимости от нее, выступали за сотрудничество с Советским Союзом и за соглашение с ним западных держав, а также за сближение с балканскими странами при условии удовлетворения ими болгарских требований [47; 48].

События показали, что только революционная партия рабочего класса Болгарии, обладая целенаправленной политической программой и стойким иммунитетом против националистического поветрия, смогла правильно понять общий смысл начавшейся ломки европейской системы и оценить влияние этого процесса на международное и внутреннее положение своей страны. Заклеймив аншлюс Австрии и отторжение у Чехословакии ее северо-западных пограничных областей как агрессивные акты Германии при попустительстве западных держав, коммунисты рассматривали их не изолированно, а в контексте глобальных целей гитлеровской Германии и доказывали, что мюнхенская политика представляет опасность для всех балканских стран, включая Болгарию. БКП разоблачала иллюзии буржуазных кругов относительно ревизии мирных договоров в мюнхенском духе, подчеркивая, что в сложившихся условиях «самым важным для Болгарии является не вопрос о ревизии Нейиского договора, а вопрос защиты и сохранения независимости самой Болгарии» [49; 46, с. 238]. В своей конструктивной части внешнеполитическая программа БКП предлагала сплочение балканских народов и сотрудничество с Советским Союзом, главным и практически единственным последовательным борцом за мир в Европе.

В Румынии форсированное наступление сил внутренней реакции и фашизма (установление королевской диктатуры, поиски с ее стороны компромисса с оппозиционной фашистской «Железной гвардией», неоднократные попытки последней захватить власть) сопровождалось изменениями во внешнеполитическом курсе от англо-французской ориентации через политику «игры на двух столах» к сближению, а затем переходу на сторону Германии в положение полной зависимости от нее. Такая эволюция, как подчеркивают советские историки, была не только следствием попустительства западных держав натиску Германии в Центральной и Юго-Восточной Европе. Она представляла и самостоятельную линию политики буржуазно-помещичьей Румынии, готовой в своем активном антисоветизме опереться на гитлеровскую Германию, а также отражала прогерманские настроения значительной части правящих кругов [50, с. 236; 51, с. 109—114].

Переориентация внешней политики не встречала сопротивления со стороны той части румынской буржуазии, которая была с ней не согласна. Государственной власти своими законодательными мерами по роспуску партий и запрету политической деятельности вне системы диктатуры практически удалось подавить буржуазную и социал-реформистскую оппозицию, ограничивавшуюся в лучшем случае пассивным «неприятием» официальной политики. После этого главную опасность правительство усматривало в сопротивлении прогерманскому курсу, ссылаясь на то, что критика официальной линии в этом вопросе может вызвать вооруженное вмешательство Германии [51, с. 144]. К тому же обострившийся антисоветизм имущих классов Румынии в целом сглаживал противоречия между буржуазными сторонниками англо-французского блока и официальной линией на союз с фашистскими державами.

В условиях дезорганизации и покорности королевской диктатуре не слившихся с режимом буржуазных кругов только Компартия Румынии призывала к активным массовым действиям всех демократических и патристических сил и предлагала такую конкретную программу борьбы, реализация которой помогла бы отстоять насущные национальные интересы и не допустить участия Румынии в агрессивной войне под началом гитлеровской Германии. КПП предупреждала о пагубности для Румынии сближения с гитлеризмом и антисоветской политики, содействовавшей распро-

странению германской агрессии в Центральной и Юго-Восточной Европе. В противовес такой линии она предлагала политику коллективной безопасности: заключение союзного договора с СССР, сотрудничество с балканскими странами и со всеми государствами, заинтересованными в предупреждении агрессии, поддержку тех близлежащих государств, которые уже подверглись гитлеровскому нападению [50, с. 236—237; 51, с. 145].

Поскольку королевское правительство усиливало фашизацию страны, а во внешней политике все более однозначно тяготело к фашистскому блоку, Компартия выдвинула лозунг свержения королевской диктатуры и создания демократического правительства национального спасения. В период подготовки и принятия королем навязанных державами оси условий венского арбитража, по которому хортистской Венгрии передавалась территория Трансильвании, Компартия вместе с сотрудничавшими с ней демократическими организациями (Фронт земледельцев и МАДОС), отражая настроения широких общественных слоев, призвала к объединению всех патриотических сил для сопротивления, вплоть до вооруженной борьбы, капитулянтской политике правительства [50, с. 294; 52]. Когда последнее в сентябре 1940 г. с покорностью приняло продиктованные нацистской Германией условия о передаче Болгарии и Венгрии соответственно Южной Добруджи и Трансильвании, возмущение народа смело режим королевской диктатуры, но в условиях разобщенности демократических и нефашистских сил румынской реакции при прямой поддержке фашистских держав удалось сохранить за собой власть и ужесточить ее.

В Венгрии накануне второй мировой войны также осложнились условия развития рабочего движения и классовой борьбы. Гитлеровская политика разрушения послевоенного устройства в Европе послужила правящим кругам Венгрии сигналом для постановки в порядок дня их собственных планов восстановления «великой Венгрии» в ее «исторических границах» [53]. Венгерское правительство энергично включилось в подготовку войны, приняв обширную программу вооружений. Развертывание военной промышленности повысило занятость и — хотя в невоенных отраслях наблюдалось сокращение производства или застой — ослабило экономическую борьбу пролетариата. К тому же под знаком военных приготовлений ужесточился террор против классовых выступлений пролетариата и административное давление на его организации: под запретом оказалась профсоюзная печать, был установлен государственный контроль над финансовой деятельностью профессиональных организаций, члены классовых профсоюзов подвергались дискриминации при приеме на работу.

Особенно тяжелые последствия для классовой борьбы пролетариата имело то обстоятельство, что под воздействием реваншистской пропаганды, подогретой территориальными «приобретениями» хортистского правительства за счет соседних народов, значительные его слои оказались втянутыми в опасный поток национализма. Этому способствовала социал-демократическая партия, голосовавшая в парламенте за программу вооружения и за другие военные меры правительства и приветствовавшая акты фашистской агрессии и перекройку карты Европы. Шовинистический туман мешал видеть, что захватническая политика хортизма, реализуемая под покровительством гитлеровской Германии, ставит под угрозу независимость самой Венгрии.

Не поддавшись воинствующему национализму только Компартия Венгрии. Недостаточно сильная организационно, она заняла правильные идейные позиции. КПВ неустанно разъясняла, что соучастие в фашистской агрессии ставит Венгрию в вассальную зависимость от Германии, а захват территории соседних государств вызывает к Венгрии ненависть их народов. КПВ разоблачала ложь официальной пропаганды и поддерживавших правительство в этих вопросах оппозиционных буржуазных и социал-реформистских кругов о «национальном единстве», отстаивала право на самоопределение поработанных хортизмом словаков, украинцев, румын и прилагала усилия к образованию фронта независимости на базе единства всех противников гитлеровской Германии [54].

Анализ соотношения сил реакции и прогресса в странах Центральной и Юго-Восточной Европы показывает, что цели антифашистской борьбы в них не могли быть исчерпаны накануне второй мировой войны, ибо вместе с обострением международной обстановки на первое место выдвигалась здесь опасность фашизма извне.

Однако тогда рабочий класс этих стран приобрел такой ценный политический опыт, который позволил в последующие годы успешно решить поставленные перед ним исторические задачи. В концепции союза антифашистских сил был найден верный путь противодействия реакции и фашизму. Коммунистическое движение предложило народам конкретную программу борьбы против фашистской опасности во всех ее проявлениях. Благодаря этому на следующей стадии, когда фашистские державы развязали кровавую агрессию в Европе, коммунистические партии рассматриваемых стран из авангарда пролетариата стали превращаться в самую влиятельную силу своих народов, ведя за собой основные массы рабочих, крестьян, всех антифашистов и патриотов. В результате провозглашенная коммунистами стратегия антифашистского единства в те годы была расширена до масштабов национальных фронтов. Ее осуществление, вместе с борьбой советского народа, принесло народам Центральной и Юго-Восточной Европы победу над фашизмом, национальное освобождение и создало предпосылки социального прогресса.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Berend I. T., Ránki G.* Economic Development in East-Central Europe in the 19-th and 20-th Centuries. New York and London, 1974, p. 171—318.
2. История фашизма в Западной Европе. М., 1978. с. 6—7.
3. Фашизм и антидемократические режимы в Европе. Начало 20-х годов — 1945 г. М., 1981.
4. *Галкин А. А.* Социально-политическая структура капиталистического общества и фашизм.— Вопросы философии, 1977, № 2, с. 88.
5. *Faszizm — teoria i praktyka w Europie (1922—1945).* Wrocław, 1977.
6. *Мизутина И. В.* О месте крестьянских партий в политической эволюции стран Центральной и Юго-Восточной Европы между первой и второй мировыми войнами.— Советское славяноведение, 1982, № 2.
7. *Мизутина И. В.* К вопросу о роли правых оппозиционных группировок в политической системе стран Центральной и Юго-Восточной Европы в 1930-е годы.— Советское славяноведение, 1977, № 2.
8. *Тольятти П.* О задачах Коммунистического Интернационала в связи с подготовкой империалистами новой мировой войны.— В кн.: VII конгресс Коммунистического Интернационала и борьба против фашизма и войны. М., 1975.
9. *Ránki G.* Surmounting the Economic Crisis in South-East Europe in the 1930-s — Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1981, № 3—4, p. 499—522.
10. *Dzieje Najnowsze*, 1978, № 1, s. 73—81.
11. О задачах Коммунистического Интернационала в связи с подготовкой империалистами новой мировой войны. Резолюция по докладу т. Тольятти, принятая VII конгрессом Коммунистического Интернационала 20 августа 1935 г.— В кн.: VII конгресс Коммунистического Интернационала и борьба против фашизма и войны. М., 1975.
12. Воззвание Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала по случаю 21 годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.— Коммунистический Интернационал, 1938, № 10, с. 120.
13. *Irredenta niemiecka w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej przed II wojną światową.* Katowice — Kraków, 1971.
14. *Мизутина И. В.* Рабочее движение стран Центральной и Юго-Восточной Европы между первой и второй мировыми войнами.— Советское славяноведение, 1983, № 2, с. 24—26.
15. *Глазек И.* Отношение на Социалистический рабочий интернационал к национально-революционной войне на испанский народ срещу фашизма (1936—1939) — Известия на института по история на БКП, № 48. София, 1983, с. 210.
16. *Готвальд К.* Избранные произведения. Т. I. М., 1957.
17. *Готвальд К.* Как защитить народ Чехословакии от Гитлера?— Коммунистический Интернационал, 1936, № 10.
18. *Том Х.* Борьба чехословацкого народа против гитлеровского фашизма и войны.— Коммунистический Интернационал, 1938, № 5, с. 48.
19. *Netsová V.* Hospodársky program KSC v pláne hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho povznesenia Slovenska z roku 1937.—Historica Carpatica. Historia, 1975, s. 37—54.
20. История Чехословакии. Т. III. М., 1960, с. 288.
21. *Prehled dějin KSC*, Praha, 1976.

22. *Cihák M.* Prosazení leninského pojetí masovosti KSC v letech 1921—1938. Praha, 1978.
23. *Harna J.* Českoslovenští národní socialisté v Mnichovské krizi.— *Československý Casopis Historický*, 1974, č. 1, s. 57—80.
24. *Historia Polski*, t. IV, cz. 3. Warszawa, 1978, s. 536—537.
25. *Z problemów polityki KPP w dobie formowania się OZN.*— *Z pola walki*, 1974, № 3.
26. *KPP. Uchwały i rezolucje*, t. III. Warszawa, 1956, s. 547—571.
27. *Dokumenty Komunistycznej Partii Polski 1935—1938.* Warszawa, 1968.
28. *Kowalski J.* Komunistyczna Partia Polski 1935—1938. Warszawa, 1975.
29. *Historia polskiego ruchu robotniczego 1864—1964*, t. I. Warszawa, 1967.
30. *Zarnowski J.* Polska Partia Socjalistyczna w latach 1935—1939. Warszawa, 1965.
31. *Gąsior T.* KPP i PPS wobec faszyzmu niemieckiego (1933—1938).— *Dzieje najnowsze*, 1973, № 4.
32. *Спиридонов Ф.* Борьба с проникновением гитлеровского фашизма на Балканы.— *Коммунистический Интернационал*, 1937, № 1, с. 48—51.
33. *Тодоров С.* Компартия Болгарии в борьбе против фашизма и войны.— *Коммунистический Интернационал*, 1938, № 3, с. 51.
34. *Волков В. К.* Мюнхенский стовор и балканские страны. М., 1978.
35. *Кирьякидис Г. Д.* Греция во второй мировой войне. М., 1967, с. 64—67.
36. *Кунина Д. Э. Г.* Димитров и разработка политики антифашистского национального фронта (1939—1944).— В кн.: *Георгий Димитров — выдающийся революционер-ленинец*. М., 1974, с. 268—269.
37. *Stojkov T.* O stvaranju Bloka narodnog sporazuma.— In: *Istorija XX veka.*— *Zbornik, radova* t. VI, 1964, s. 245—301.
38. *Karabegović J. I.* Reformistički pravac u radničkom pokretu Bosne i Hercegovine 1919—1941 godine. Sarajevo, 1979, s. 150—152, 254—259, 277.
39. *Aprilski rat 1941.* *Zbornik dokumenta*, t. I. Beograd, 1969, s. 123—133.
40. *Iz istorije Jugoslavije 1918—1945.* *Zbornik predavanja.* Beograd, 1958, s. 322.
41. *Преглед историје Савеза комуниста Југославије.* Београд, 1963, с. 275—280, 285—286.
42. *Zivković D.* Narodni front Jugoslavije 1935—1945. Beograd, 1978, s. 96.
43. *Narodni front i komunisti.* Jugoslavia, Českoslovačka, Poljska 1938—1945. Beograd, Prag, Varšava, 1968, s. 28.
44. *Bystrický V.* Bulharsko a Mnichov.— *Slovanskij prehled*, 1978, N 4, s. 292.
45. *Сирков Д.* Външната политика на България 1938—1941. София, 1979, с. 95.
46. *Мигев В.* Мюнхенское соглашение и фашистская диктатура в Болгарии в 1938—1939 гг.— *Studia balkanica*, 7. Sofija, 1973.
47. *Георгиев В.* Буржоазните и дребнобуржоазните партии в България 1934—1939. София, 1971, с. 403—441.
48. *Димитров И.* Българската демократична общественост, фашизмът и войната. София, 1976.
49. *Арсов С.* Борбата на БКП за общобалканско сътрудничество, против вовличанието на Балканите във втората светова война 1934—1940.— *Годишник на катедрите по марксизм-ленинизм при висшите учебни заведения*, год 1, кн. II. София, 1962, с. 156.
50. *Лебедев Н. И.* Крах фашизма в Румынии. М., 1976.
51. *Ерещенко М. Д.* Королевская диктатура в Румынии 1938—1940 гг. М., 1979.
52. *Карпещенко Е. Д., Спиваковский Е. И.* Традиции революционной солидарности.— *Новая и новейшая история*, 1974, № 4, с. 93—95.
53. *Венгрия и вторая мировая война. Секретные дипломатические документы из истории кануна и периода войны.* М., 1962, с. 93.
54. *История венгерского революционного рабочего движения.* Т. 2. М., 1973, с. 220—225, 240—252.



УДАЛЬЦОВ И.

ЕЩЕ РАЗ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФРАНТИШКА ПАЛАЦКОГО (ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ)

Название настоящей статьи связано с тем, что в 1950 г. автором этих строк была опубликована работа под аналогичным заголовком [1], опиравшаяся на имевшиеся к тому времени материалы и характеризовавшая как политические взгляды и деятельность лидера чешской либеральной буржуазии 40—70-х годов XIX в. Ф. Палацкого, так и тогдашнюю чехословацкую, еще преимущественно буржуазную, литературу о нем.

За истекшие с той поры более чем три десятилетия в рамках процесса формирования и становления в Чехословакии марксистской историографии появилось множество новых работ и публикаций, посвященных различным сторонам мировоззрения и деятельности Палацкого, в том числе его политическим взглядам и политической практике [2—38]. Это объясняется, конечно, не только чисто академическим интересом к жизни и деятельности выдающегося ученого-историка и активного деятеля чешского национального возрождения. Как показали чехословацкие события 1968 г., вопрос о политических взглядах и деятельности Палацкого — это не отвлеченно-научный, относящийся лишь к историческому прошлому вопрос, а один из многих аспектов острой и принципиальной современной идеологической и политической борьбы. В ходе этих событий имели место попытки использовать заслуженный авторитет Палацкого как ученого и деятеля национальной культуры, с одной стороны, и его (нередко предвзято интерпретируемые) либерально-буржуазные, националистические идейно-политические позиции и взгляды, с другой стороны, в интересах борьбы против социализма, против коммунистической партии, за реставрацию буржуазных порядков в стране.

Одним из примеров такого именно спекулятивного подхода к использованию в неблагоприятных политических целях имени и авторитета Палацкого являются статьи Эд. Шолле периода событий 1968 г. Уже в мае 1968 г. на страницах журнала «История и современность» он выступает с апологетикой буржуазной чехословацкой республики (в противовес, разумеется, республике социалистической), утверждая, что только буржуазная республика была истинным воплощением чешских и словацких национальных идеалов, сформулированных для старшего поколения Палацким, а для последующих поколений — Масариком [42, № 5, с. 12]. В июне 1968 г. он продолжал эту тему в статьях «Масариковская идея чехословацкого государства» [42, № 6], а затем — «Проблема малой нации» (октябрь) [42, № 10]. В них Шолле стремится подвести читателя к мысли о том, что наиболее якобы полно выражавшие национальные интересы чешского народа «благородные идеи» Палацкого — Масарика были наилучшим образом реализованы в буржуазной Чехословацкой республике, а после второй мировой войны — в условиях социалистического государ-

ства — были деформированы, вследствие чего настала «чехословацкая трагедия второй половины сороковых и пятидесятих годов» [42, № 10, s. 13], одной из наиболее характерных черт которой была, дескать, судьба словаков, подвергшихся угнетению «в особенности после 1948 года». Шолле договаривается здесь до прямо клеветнического утверждения, будто бы в сравнении с условиями социалистической республики судьба словацкого народа в межвоенный период «представляется почти идиллической» [42, № 10]. Вслед за этим Шолле, вполне логично для его позиций, разъясняет, что речь идет о необходимости «всестороннего возрождения» всей общественной — политической, экономической, культурной, моральной и вообще духовной — жизни Чехословакии, совершенно недвусмысленно уточняя в каком именно направлении должно осуществляться это «возрождение»: «Если чехи хотят снова стать достойными своего великого прошлого, они должны руководствоваться теми принципами, которые . . . провозглашал Палацкий...» [42, № 10], т. е. вернуться к буржуазному общественному строю, отбросив в сторону социализм.

Вот так идеи и позиции Палацкого, в которых было, само собой, много противоречивого и которые относились к условиям своей исторической эпохи, стали спустя столетие предметом политических спекуляций чехословацких «возрожденцев» 1968 г., попытавшихся эти либерально-буржуазные идеи прошлого превратить в активное оружие борьбы против социализма.

Разумеется, однако, что подобного рода научно-политические спекуляции вовсе не определяли характер и направленность опубликованных в последнее тридцатилетие работ о Палацком подавляющего большинства чехословацких ученых.

Обилие работ, посвященных в последние годы чехословацкими авторами Палацкому, объясняется, с одной стороны, значительностью его научного и идейного наследия, его выдающейся деятельностью будителя и организатора многих важных национально-культурных акций, его первостепенной ролью в национально-политической борьбе 40—70-х годов XIX в. в качестве лидера буржуазно-либерального направления в общественной жизни Чешских земель и, с другой стороны, необходимостью дать объективную оценку с марксистско-ленинских позиций мировоззрения, научной и культурной деятельности, политической практики Палацкого. При этом посвящены ли те или иные работы прежде всего Палацкому как историку (В. Гуса, И. Валка, Й. Гаубельт, Л. Гавлик, Ф. Кутнар, З. Шамбергер, З. Шимечек), характеризуют ли они его политическую деятельность (Я. Гавранек, Ф. Кутнар, М. Шмерда, К. Штефек, В. Штястный) или отношение Палацкого к рабочему классу (К. Новотный, Б. Шинделарж), к польскому (Я. Микулка), словацкому (Я. Гучко) и венгерскому (Р. Пражак) вопросам, делается ли в них попытка обобщить важнейшие стороны мировоззрения и деятельности Палацкого (М. Етмарова) — все они свидетельствуют о высокой научной и политической актуальности и в наши дни объективной оценки исторической роли Палацкого и его идейного наследия.

Неоднозначность, сложность, порой противоречивость мировоззрения и политической практики Ф. Палацкого, отражавшие сложность и противоречивость классовых и национальных проблем его времени, приводят нередко различным авторам к неодинаковым оценкам и выводам из существующей совокупности фактов и материалов о Ф. Палацком и его времени. Однако, в главном и основном успешно формируется объективная характеристика деятельности Палацкого теми авторами, которые подходят к оценке этой деятельности с классовых позиций и судят о ней по ее объективным результатам, а не по благим намерениям.

Неоднократно обращался к оценке научного творчества Палацкого в различные периоды своей жизни З. Неедлы — от статей о нем 1921 и 1926 гг. до соответствующего раздела историографического введения к «Истории чешского народа» (1949) и эмоциональной речи на III съезде чехословацких историков в 1959 г. Наиболее четко и научно обоснованное отношение З. Неедлы к Палацкому сформулировано в упомянутом введении

к «Истории чешского народа», где он характеризует Палацкого как «крупнейшего исторического гения и одного из величайших современных историков вообще» [43]. Неedly мотивирует эту оценку тем, что написанная Палацким история чешского народа была первым чешским строго научным историческим трудом, тщательно документированным, содержащим прогрессивную по тому времени концепцию чешской истории и показывающим эту историю во взаимосвязи с общим прогрессом человечества. Важнейшую заслугу Палацкого Неedly видит в том, что он рассматривает в своем труде гуситский период как вершину чешской истории, крупнейший вклад чешского народа в историю человечества, анализирует его с точки зрения противоборства прежде всего светских, а не религиозных сил и причин. Неedly подчеркивает непреходящее значение исторических трудов Палацкого для пробуждения и укрепления национального самосознания в широких слоях народа, для вооружения его знанием исторического прошлого в борьбе за национальные цели в настоящем и будущем. В то же время он отмечает идеализм его метода познания, вытекающую из этого трактовку гусизма как «выступления современного (moderního) демократизма против средневековой универсальной авторитарности» [43, с. 77]. С полным основанием высоко оценивая научно-организаторскую деятельность Палацкого, его выдающийся вклад в становление и развитие национальной культуры в целом, его большое влияние на многих других деятелей возрождения, на формирование «чешской национальной программы» (т. е. политической программы чешской буржуазии.— *И. У.*), Неedly видит, вместе с тем, классовую основу его взглядов и политических позиций в рассматриваемый нами период. Об этом свидетельствуют, в частности, его относящиеся к 1947 г. замечания о реакционной роли политической практики Ф. Палацкого как лидера чешской либеральной буржуазии в ходе революционных событий 1848—1849 гг. [44].

Сформулированный З. Неedly принципиальный подход к оценке различных сторон деятельности Палацкого был воспринят и поддержан большинством чехословацких историков-марксистов, различающих в своих работах последние лет как действительно выдающийся вклад Палацкого в развитие чешской науки и культуры, в организацию многих национально-патриотических акций, так и его носившую выраженный либерально-буржуазный характер и противоречившую интересам европейской революции политическую практику 40-х годов, особенно же в ходе противоборства сил революции и контрреволюции в 1848—1849 гг., а также в последующий период.

Все более глубокий анализ различных аспектов исторической концепции и научных трудов Палацкого, проводимый в последние десятилетия чехословацкими историками, раскрывает и сильные стороны этих трудов, их большое и положительное влияние на развитие философской мысли, литературы и искусства, национальной культуры в целом и, вместе с тем, их слабые стороны, не выдержавшие испытания временем. К таким слабым, обусловленным идеалистическим и националистическим мировоззрением Палацкого аспектам его исторической концепции современная чехословацкая наука относит прежде всего его исходную мысль о противоборстве славянского и германского элементов (духа) как движущей силе истории Чешских земель; его представления о славянах (чехах) как якобы по самой природе своей народе демократическом, миролюбивом, земледельческом и торговом, не знавшем будто бы деления на господ и угнетенных — в противоположность немцам как народу агрессивному, воинственному, навязавшему славянам феодальный строй с его классовой структурой и формами угнетения, вытекающую из такого представления трактовку гусизма как борьбы «славянского демократизма» с «западным феодализмом». Отмечаются и конкретные причины возникновения слабых сторон в концепции и трудах Палацкого — такие, например, как использование им в качестве основных исторических источников ряда недостоверных материалов и прямых фальсификатов (Краледворская и Зеленогорская рукописи), как сильное влияние на него немецкой идеалистической философии и т. п. Тем не менее общая оценка чехословацкими специалистами его

исторических трудов, их научного и общественного значения вполне обоснованно остается положительной, что совпадает и с подходом к этому вопросу в советской историографии [45]¹.

Сложнее обстоит дело с общей оценкой мировоззрения Палацкого, его политических позиций и деятельности, его объективной роли в общественном развитии и классовой борьбе в Чешских землях. Такая обобщенная оценка продолжает еще формироваться, хотя работа в этом направлении проделана уже большая. Для характеристики некоторых итогов этой работы остановимся несколько подробнее на статье В. Гусы об оценке Б. Шмералем трактовки чешской истории в трудах Палацкого (1958), на работах о Палацком М. Етмаровой (1956 и 1961 гг.), на группе статей, опубликованных в юбилейных сборниках к 170-летию со дня рождения Палацкого (1968), и, особенно, к столетию со дня его смерти (1976).

Статья В. Гусы представляет интерес прежде всего в методологическом плане, поскольку в ней при анализе относящейся к 1938 г. работы Б. Шмерала «Палацкий и наше время» подчеркивается диалектический подход автора к оценке деятельности Палацкого с учетом как позитивных, так и негативных с точки зрения марксизма-ленинизма ее сторон. Отмечается консерватизм Палацкого как политика, его идеализм как историка, непонимание им исторической роли рабочего класса, его враждебное отношение к Пражскому восстанию 1848 г., к социалистическому рабочему движению. В то же время указывается на прогрессивный в целом характер его «Истории чешского народа» и активного участия Палацкого в процессе чешского национального возрождения. В условиях развертывавшейся тогда (июль 1938 г.) немецко-фашистской агрессии против народов Европы, нависшей над Чехословакией непосредственной угрозы порабощения ее гитлеровской Германией Шмераль использовал некоторые положения исторической концепции Палацкого как аргументы в антифашистской борьбе. Он отнес к ним мысль Палацкого об особо важном стратегическом значении Чешских земель для сохранения мира в Европе, для предотвращения общеевропейских катастроф, подобных тридцатилетней войне, начавшейся с Чешских земель. К таким положениям Шмераль отнес также предостережение Палацкого об агрессивной природе пангерманизма, германского расистского милитаризма, об угрозе с их стороны народам Европы.

Указывая на подобный подход Шмерала и Компартии Чехословакии к наследию Палацкого в критический для судьбы страны момент, В. Гуса подчеркивает вместе с тем, что эти оценки Шмерала не могут и не должны вести к некритической идеализации научной и политической деятельности Палацкого, так как это противоречило бы и духу статьи Шмерала, и существу деятельности самого Палацкого «как политического представителя консервативной буржуазии». Продолжая мысль З. Нееды, В. Гуса видит «величие Палацкого в том, что он сумел обнаружить глубокую взаимосвязь между отдельными событиями национальной истории, что под слоем множества мелких исторических фактов умел распознавать смысл исторического процесса с точки зрения потребностей возникающей национальной общности, что из прошлого он умел извлекать предостережения и уроки для нынешнего и будущего развития народа» [11, с. 164].

На работах М. Етмаровой [13, 14] считаем целесообразным остановиться подробнее потому, прежде всего, что она является пока единственным автором, опубликовавшим в ЧССР после столетнего юбилея революции 1848 г. специальную книгу о Палацком, его общественно-политических и философско-исторических взглядах, его политической деятельности, кроме того, Етмарова заявляет, что ее статья [14] в значительной мере расходится с моими оценками Палацкого, ввиду чего рассматривается автором

¹ Каких-либо специально посвященных Палацкому работ в советской историографии не появлялось с начала пятидесятых годов, когда мною были опубликованы упомянутая выше статья [1] и монография [46], в ряде разделов которой характеризуется научная, культурно-организаторская и общественно-политическая деятельность Палацкого в период революции и в предшествующие десятилетия.

как статья дискуссионная [14, с. 944]. Попробуем разобраться в этих расхождениях.

М. Етмарова усматривает в моих «Очерках из истории национально-политической борьбы в Чехии в 1848 г.» «попытку отрицать антифеодальное значение политических взглядов Палацкогo на первом этапе его деятельности» [14, с. 847]. В доказательство она ссылается на следующую цитату из «Очерков...»: «В начале своих исторических занятий Палацкий увлекся было биографией Тадеуша Костюшко, что специально отмечал в своем дневнике в августе 1819 г. Однако уже вскоре это увлечение у Палацкогo пропадает, и в период польского восстания 1830—1831 гг. он выступает решительно против революционных методов борьбы» [46, с. 66]², а также на содержащиеся в моей работе указания на обширные и тесные личные контакты и связи Палацкогo с аристократическими дворянскими кругами.

В связи с этим М. Етмарова пишет, что Палацкий восхищался Костюшко не как революционером, а как «борцом за политическую независимость», «за политическую свободу в буржуазном смысле». И продолжает: «Нет оснований противопоставлять восхищение борцом за буржуазные политические идеалы и ненависть к революционным методам борьбы» [14, с. 847]. Вот именно — нет таких оснований. Действительно, буржуазный либерал может видеть пример борца за политическую независимость и буржуазные свободы и в таких политических деятелях — реформаторах и соглашателях, — которые не способны во имя этих целей подняться сами и поднять массы на вооруженную, революционную по своим методам борьбу с внутренней реакцией и чужеземными захватчиками и угнетателями, как это сделал Костюшко. Но в том-то и дело, что в 1819 г. молодой Палацкий увидел было пример для себя не только в личности, но и в делах Костюшко, не отделяя еще в его практической деятельности, в его борьбе целей от методов. И именно поэтому ни в моей работе, ни в дневниковой записи Палацкогo за 7 августа 1819 г., на которую я ссылаюсь, такого противопоставления, о котором пишет М. Етмарова, вовсе нет. Напротив, Палацкий, подробно излагая и комментируя в этой записи биографию Костюшко, восторгается всей его деятельностью и борьбой, всей его жизнью, не делая тогда никаких оговорок в отношении тех радикальных методов вооруженного восстания и революционной войны, сторонником, организатором и руководителем которых Костюшко выступал на родине и за ее рубежами. «Костюшко! — восклицает Палацкий в своей записи в «Každodenníčku», — Я буду идти по твоим святым стопам! И хотя я не могу взять в руки меч во имя блага народа и Родины, нет препятствий к тому, чтобы я со всей страстью выступил за нашу славу и самостоятельность, посвятил свое достоинство и жизнь достижению этих славных целей» [48]. Очевидно, что проявившееся у Палацкогo в последующие годы враждебное отношение к революционным методам освободительной борьбы не могло не отразиться в той или иной мере и на его общем отношении к Костюшко. Но это уже другая тема. Сейчас же заметим, что остается все же неясным, почему из приведенной М. Етмаровой цитаты и из упоминаемых мною фактов близости Палацкогo к ряду известных аристократических семей она делает вывод о «попытке отрицания антифеодального значения политических взглядов Палацкогo».

Напротив, в наших «Очерках...» вполне определенно говорится, что, разумеется, возглавляемая Палацким «чешская либеральная буржуазия не могла не стремиться к замене господствовавших в стране феодальных порядков, тормозивших развитие капитализма, порядками буржуазными. Ясно, что она ставила именно эту цель. Однако пути к этому она видела не в революционных методах борьбы, не в осуществлении буржуазно-де-

² М. Етмарова цитирует это место по чешскому изданию [47, с. 40]. Следует отметить кстати, что в переводе по непонятным причинам вместо слов «...что специально отмечал в своем дневнике в августе 1819 г. ...» говорится: «... что специально отмечал в письме в сентябре 1822 ...». При этом вместо моей ссылки на первый том «Корреспонденций и записок» Ф. Палацкогo [48, с. 36] в чешском переводе дается ссылка на второй том этого издания [48, с. 101].

мократической революции, а в реформах сверху, в постепенном «улучшении» существующего строя на основе соглашения с монархией Габсбургов» [46, с. 61; 47, s. 35]. Говорится также, что возглавлявшаяся Палацким «чешская либеральная буржуазия все больше запутывалась в противоречиях. Ее классовые интересы заставляли ее стремиться к преобразованию общественного строя на капиталистической основе, ибо без такого преобразования невозможно было свободное развитие капитализма. Но страх перед революционными методами борьбы толкал ее к союзу с дворянством — носителем феодальных традиций и защитником феодальных порядков» [46, с. 63; 47, s. 37]³.

Таким образом, очевидно, что в наших «Очерках...» речь шла не об отрицании антифеодального значения политических взглядов Палацкого, а о том, что как идеолог и лидер чешской либеральной буржуазии он искал способы осуществления буржуазных целей без применения революционных методов, без привлечения к решению антифеодальных задач трудящихся слоев населения, путем соглашения, сотрудничества и союза с дворянством и династией.

Соглашаясь с тем, что стремление Палацкого привлечь дворянство на свою сторону, т. е. к решению буржуазных по своему характеру задач, носило реакционный характер, М. Етмарова доказывает, что реакционность его отношения к дворянству вытекала не из личных моментов и не из его персональных связей со шляхтой, что она основывалась прежде всего на его «классовом инстинкте либерального буржуа». Совершенно верно! Не ясно только, почему это безусловно правильное положение облечено в форму полемики с нашими «Очерками...», поскольку в них вовсе не утверждается, что аристократические связи и контакты Палацкого были единственным, решающим фактором в формировании его политической позиции по отношению к дворянству. Говорится о другом: о том, что такие связи и контакты сыграли в этом в е с ь м а б о л ь ш у ю роль, серьезно повлияли на мировоззрение и политическую позицию Палацкого. А с таким очевидным фактом полемизировать вряд ли перспективно. Так обстоит дело с упомянутыми выше расхождениями.

Из других основных положений статьи М. Етмаровой отметим следующие: отношение Палацкого к народу определялось позицией и классовой принадлежностью буржуазного либерала, который «все делает для народа, но для того народа, который ведет себя тихо и мирно, признает руководство либеральной буржуазии, не пытается действовать самостоятельно, а покорно принимает плоды образованности, разумно устранившись от всего того, на что его нынешней образованности еще недостаточно» [14, s. 853]. Чешская буржуазия, — подчеркивает М. Етмарова, — вступала в союз не с обуржуазившимся дворянством, а с классом, прогрессивность которого давно исчезла, с классом в своей основе феодальным, а в своем большинстве — немецким, с защитником средневековых традиций, стремящихся восстановить свои средневековые преимущества и привилегии. Выступая против политических привилегий дворянства, призывая их отказаться от этих привилегий, Палацкий вовсе не стремился к ликвидации его экономической базы [14, s. 853, 861, 862].

Приведенные положения статьи М. Етмаровой возражений не вызывают. Статья эта послужила подготовительным этапом к изданию монографии «Франтишек Палацкий». При этом и в монографии М. Етмарова продолжает пространно доказывать, что р е ш а ю щ е е влияние на формирование позиции Палацкого по отношению к шляхте оказывали объективные факторы и его либерально-буржуазный «классовый инстинкт», а не только его личные связи с дворянством и собственное имущественное и социальное положение богатого землевладельца, каким он стал к 40-м годам; что его переход в 1848 г. на контрреволюционные позиции также объясняется не только личными, субъективными причинами и обстоятельством, но и объективным развитием всей либерально-буржуазной политики (и позиций всех принадлежавших к этому течению будителей)

³ О том же идет речь и в других местах нашей работы [46, с. 49; 47, s. 26] и т. д.

«слева направо»; что личная судьба Палацкого лишь отражает специфику развития класса, представителем которого он был. Все это верно (если не отрицать сильного влияния связей с дворянством на формирование личной позиции и политической практики Палацкого), но ко времени выхода в свет книги М. Етмаровой эти соображения уже стали в целом общепринятыми в чехословацкой марксистской историографии. В советской тоже.

М. Етмарова подробно характеризует либерально-буржуазные и консервативные черты мировоззрения, творчества и политики Палацкого, причины постепенного, но неукоснительного «поправения» его взглядов и позиций, усиления их реакционных аспектов в период с 20-х до 70-х годов XIX в., рассматривая 40-е годы как переломный момент в этом процессе. 1848 год, пишет М. Етмарова, был годом широкого размаха демократической борьбы и вместе с тем временем, «когда в еропейском столкновении феодализма и монархизма с революционными элементами общества чешский народ занял недостойную позицию одной из опор тогдашней контрреволюции, за что подвергся обоснованной критике со стороны прогрессивной части европейской общественности. Это пятно на имени чешского народа порождено политикой либеральной партии, постепенно одержавшей верх в ходе событий 1848—1849 гг. и представлявшей в глазах остальных народов политику народа чешского. Немалый личный вклад в идейное обоснование, выработку программы и торжество этой политики внес Франтишек Палацкий...» [13, с. 107]. Далее М. Етмарова предлагает свой анализ причин того, почему же наиболее прогрессивный из чешских историков 20—30-х годов, завоевавший себе в предреволюционные десятилетия авторитет как противник феодализма и борец за демократические права чешского народа, в 1848 г. все свои теоретические, идейные и практические усилия, все свое влияние направляет против общественного прогресса; почему эти его усилия нельзя характеризовать иначе чем как безусловно реакционные [13, с. 107—108]. М. Етмарова пытается выяснить, каким образом возникла «глубокая пропасть между прогрессивной направленностью просветительской, организаторской деятельности Палацкого до 1848 г., демократическим значением исторических трудов Палацкого и его контрреволюционной политикой в 1848 г.?» [13, с. 108]. При этом М. Етмарова отмечает, что в начале 40-х годов весьма очевидный поворот к реакционному консерватизму можно наблюдать в развитии общественно-политических взглядов всех либерально-буржуазных идеологов, в том числе Шафарика, Эрбена, Гурбана, Коллара и др.

В этой связи М. Етмарова указывает на особенности процесса формирования и развития чешской буржуазии, в первую очередь на тот факт, что ко времени, когда эта буржуазия сложилась как класс, она уже испытывала страх перед революционными слоями общества, а потому искала союзников против них.

В работе отмечается, что именно в 40-х годах, особенно в 1848 г., оформились и получили наиболее четкое выражение представления Палацкого об обществе, его конкретном политическом устройстве и т. п. — т. е. те политические взгляды, из которых вытекала его практическая политическая деятельность [13, с. 113]. Автор характеризует взгляды Палацкого этого периода по таким вопросам как государство, власть, право, собственность, анализирует его трактовку понятий свобода, равенство, централизация, принцип национальности и т. п.

В соответствующих разделах книги подчеркивается, что свободу Палацкий понимает как простое равновесие между правами и обязанностями, как свободу индивидуальности в буржуазном государстве и в буржуазном смысле, при том такую свободу, которая не должна быть чрезмерной и которой нельзя злоупотреблять; что принцип равенства Палацкий сводит к равенству перед законом, не затрагивая вопросов равенства социального, поскольку частная собственность для него священна и неприкосновенна. Все люди, по убеждению Палацкого, не могут быть равны и с политической точки зрения, поскольку, благодаря «естественно возникшим» имущественным различиям, не все они предназначены играть

одинаковую роль в общественной жизни. Только превосходство и авторитет наиболее состоятельных, мудрых и образованных, «не отягощенных участием в наемном труде» слоев общества, т. е. буржуазии и обуржуазившегося дворянства, дают им основания быть руководителями нации, только их голос должен иметь решающее значение в общественных делах, поскольку правом голоса могут пользоваться лишь лица, владеющие частной собственностью.

Одну из важных реакционных сторон буржуазного либерализма Палацкого и его единомышленников М. Етмарова видит в том, что «во имя народа и воображаемого народного блага они стремятся к сотрудничеству с наиболее реакционными слоями общества, переоценивают значение национального единства и вообще национальной проблематики в ущерб многим более важным проблемам, особенно социальным, проявляют неспособность понять взаимосвязь между ними» [13, с. 124].

М. Етмарова сопоставляет политические взгляды и деятельность Палацкого и радикальных демократов и указывает в этой связи на шесть основных моментов, наиболее четко, на ее взгляд, отражавших реакционные черты практической политики Палацкого. Это, прежде всего, его борьба против социальных требований народа, в то время как радикальные демократы поддерживали борьбу народа против помещиков и дворянства. Это, далее, отстаивание им формальной свободы и равенства перед законом, в то время как радикалы, а позднее рабочий класс, боролись за подлинное равенство — социальное. Это — отстаивание монархии, тогда как радикалы выступали за республику. Это, затем, мирная тактика и стремление к соглашению тогда, когда радикалы отстаивали революционные методы борьбы с феодализмом. Это, далее, ориентация на дворянство и правящие круги, в то время как радикалы обращались к плебейским элементам города и деревни. Наконец, это национализм, связанный с поддержкой тогдашних реакционных сил, в то время как для радикалов были характерны интернационалистические тенденции и попытки сотрудничать с революционными элементами демократической Европы [13, с. 132].

Заключает свою книгу М. Етмарова выводом, что философия Палацкого, его исторические труды и его общественно-политические взгляды составляют единое целое, в основе которого лежит «либерализм просвещенческого типа». Это не самая четкая из имеющихся в работе характеристик сущности мировоззрения и деятельности Палацкого. Более точными представляются ее же неоднократные определения этой сущности как выражения классовой позиции идеолога и лидера чешской либеральной буржуазии.

В целом книга М. Етмаровой представляет несомненный интерес. И не только потому, что она, как уже говорилось, является, по сути дела, единственным в историографии 50—70-х годов синтетическим очерком о Палацком, а потребность в обобщенной и полной научной характеристике его жизни и деятельности с марксистских позиций велика. Она интересна и по постановке (в ряде аспектов весьма острой) вопроса о классовой сущности политики чешской либеральной буржуазии (и ее лидеров), об исторической роли буржуазных либералов в классовой и национальной борьбе того времени, об их политической ответственности за ее результаты. И хотя в книге рассмотрены и обобщены лишь некоторые стороны мировоззрения и политики Палацкого, все же это — определенный шаг вперед по пути к созданию капитального исследования о нем.

Третья группа работ о Палацком, которые целесообразно отметить здесь, — юбилейные сборники научных статей — заслуживает внимания потому, во-первых, что разнообразие их тематики тоже помогает раскрытию разных сторон его деятельности, и потому, во-вторых, что выраженная в них точка зрения является, если можно так выразиться, наиболее «свежей» по времени.

В изданном в Остраве в 1968 г. «Памятнике Палацкому» [49] помещены две представляющие интерес для нашей темы статьи: Я. Гавранека о Палацком как политике и Й. Валки о нем как историке. Юбилейный харак-

тер сборника и время его опубликования наложили свой отпечаток на содержание этих интересных в целом статей, что выразилось в известной идеализации авторами взглядов и деятельности Палацкого, в некоторой переоценке роли «патриотической шляхты» в национальном возрождении.

Второй сборник — это юбилейный (к столетию со дня смерти Палацкого) третий номер журнала «Slovanský přehled» за 1976 г.

Выступивший в сборнике со статьей об «идее австрийского государства» Палацко М. Шестак рассматривает вопрос о месте и значении его политических концепций в чешской буржуазной политике, о том, как они были (или не были) практически применены в этой политике и в какой мере объективно соответствовали задачам национально-освободительной борьбы чешского народа в рамках габсбургской монархии. При этом автор подчеркивает особо важное значение для формирования политической платформы Палацкого двух написанных им в период революции документов — «Письма во Франкфурт» от 11 апреля 1848 г. и статьи «О централизации и национальном равноправии в Австрии» от 21 декабря 1849 г. — и его политической практики революционных лет, когда сформировались его австрославистская концепция и представления о конкретных формах федералистского устройства Австрийской империи (федерация народов) как буржуазной конституционной монархии. Анализируя документы и выступления Палацкого тех лет, М. Шестак особо отмечает, что он (Палацкий) не понял и недооценил значение и роль в революции народных масс и выражавших тогда их интересы радикальных демократов. Со всей определенностью М. Шестак указывает на большую долю ответственности Палацкого за то, что чешское национальное движение оказалось в объективном противоречии с интересами революции в Центральной Европе. Австрославизм Палацкого и его идейно-политические концепции в целом М. Шестак, подобно М. Етмаровой и большинству других авторов, рассматривает как типичные для чешского буржуазного либерализма, вполне логично потерпевшего политический крах [29, s. 177—195].

В статье В. Штястного «О политической активности Ф. Палацкого в период возрожденной конституционной жизни» главное внимание уделено вопросу об отношении Палацкого к дворянству и его (дворянства) роли в общественно-политическом развитии. В. Штястный констатирует, что Палацкий и в 1848 г. призывал шляхту отказаться от своих привилегий, но одновременно требовал ее более активного участия в политической жизни. В этом нетрудно распознать постоянное стремление Палацкого к усилению «стабилизирующего фактора» в лице «состоятельных и образованных» слоев в противовес развертывавшемуся движению «низов». На всех этапах современного ему общественного развития Палацкий оставался сторонником союза буржуазии с дворянством, в котором он видел важный и равноправный политический субъект, фактор этого развития, отказывая в такой роли пролетариату [37, s. 199].

В. Штястный подчеркивает, что политическая концепция и позиция Палацкого сформировались в основном в ходе революции 1848—1849 гг. и по сути дела не менялись в последующие годы, несмотря на изменения в общественном развитии. Как пишет В. Штястный, это было вызвано прежде всего тем, что «доктриной Палацкого стал лояльный либерализм, что он верил в абсолютную действенность либеральной идеологии первой половины XIX в. и не принимал во внимание развитие общества, все более отдаляясь от него». Именно поэтому, подводя на склоне лет итоги своей политической деятельности и признавая неуспех своего политического курса, он не указывал на недостатки и нереальность этого курса, не признавался в порочности своей упорной ориентации на династию, а сваливал все «на необоснованные иллюзии о дружественном сотрудничестве свободных народов и на шовинизм немцев» [37, s. 200—201].

М. Шмерда в статье о роли Палацкого в формировании чешской национальной идеологии в период возрождения усматривает уникальность этой роли в том, что личные качества Палацкого способствовали преодолению господствовавшего «филологического понимания» чешского возрождения, поскольку он сумел выдвинуть наиболее важный и наиболее убедительный

аргумент в пользу обоснованности принципа национальной индивидуальности, а именно — силу исторических традиций чешского народа, который, хотя и был численно невелик, первым выступил на борьбу с реакцией за свободу духа и за свободу человека. Движущую силу культурного развития и источник духовной зрелости чешского народа Палацкий усматривал в его постоянных контактах и борьбе с немецким элементом. В этой связи М. Шмерда рассматривает процесс формирования у Палацкого националистических взглядов, относя их истоки ко временам его молодости: «Рост национализма и его усиление в выступлениях и трудах Палацкого можно наблюдать с раннего периода его романтических увлечений в Братиславе и до его разрыва с немецкими друзьями после 1848 г., когда он перешел от концепции федерализма на национальной основе к концепции чешского исторического права». С очевидностью этот процесс проявился при написании им сначала немецкой, а затем чешской версий его «Истории» и при внесении поправок в ее новые издания. «Еще в немецком первом издании он понимал историю Чехии собственно как симбиоз чехов и немцев и, возможно под влиянием сотрудничества со шляхтой, не был далек и от территориальной трактовки термина *Böhme* как понятия, включающего все население Чехии. Лишь в чешском издании появляются четко определенные в национальном отношении формулировки и чешско-немецкий спор проецируется уже не только вовне, но и по отношению к домашним (т. е. жившим в Чешских землях. — *И. У.*) немцам... Подобную же эволюцию можно наблюдать и в его взглядах на идею славянской взаимности (*slovanství*)» [33, с. 205—208]. Проявившуюся в трудах Палацкого преувеличенную идеализацию славян и славянских элементов в истории Чехии, допущенные им в этом плане ошибки М. Шмерда связывает с внешними влияниями (Лелевель, Мацейовский) и с его верой в подлинность фальшивых рукописей (Краледворской и Зеленогорской), причем подчеркивает, что в немецком издании эти ошибочные положения проявляются в меньшей степени, чем в чешском.

М. Шмерда в заключение подчеркивает, что «развитие национализма Палацкого» отражало соответствующую эволюцию идеологии чешской либеральной буржуазии, идеи и стремления которой он выражал в практической политике [32, с. 209].

Весьма интересно для характеристики процесса формирования исторической концепции Палацкого исследование Й. Гаубельта «Ф. Палацкий и Г. Добнер», раскрывающее идеологическую и научно-познавательную основу подхода этих двух ученых-будителей к анализу исторического прошлого. Хотя их разделяло почти столетие, но их мировоззрение и творчество «было идеологическим выражением классового восхождения буржуазии» [6, с. 886]. При этом Добнер выразил в своих исторических трудах «идейный мир чешского мещанства (в данном случае — городского сословия, бюргерства. — *И. У.*) начального периода его восхождения к руководящим позициям в чешской капиталистической нации». Палацкий же выражал «идейный мир чешской буржуазии в заключительной фазе ее успешного восхождения» к таким позициям, представляя «синтетическую фазу возникновения буржуазной идеологии чешской истории» [6, с. 913—914]. Й. Гаубельт также отмечает большое отрицательное влияние на историческую концепцию Палацкого некритического восприятия им рукописей-фальсификатов, но подчеркивает, что его неприятие добнеровского представления о демократичности общественного устройства древних славян (отражавшего факт существования первобытно-общинного, доклассового строя) было связано не столько с использованием недоверенных источников, сколько с концепцией изначальности, вечности частной собственности. Это видно из изображения Палацким «старославянского строя» как общества людей, хотя и «равных перед законом», но изначально управлявшихся крупными и мелкими земельными собственниками [6, с. 913]. На этом примере Й. Гаубельт вполне обоснованно указывает на классовый характер подхода Палацкого к характеристике исторического прошлого.

Критическому анализу взглядов и политики Палацкого по отношению

к чешскому рабочему движению, социалистическим идеям специально посвящены работы Б. Шинделаража и К. Новотного.

Немало интересных фактов, обобщений и выводов содержат посвященные различным аспектам мировоззрения и политики Палацкога работы Л. Гавлика, Я. Гучко [10], Й. Дворского [4], Я. Микулки [19], Р. Пражака [27], З. Шимечека [30], раздел о Палацкоге в книге Ф. Белки «Главы из истории чешского революционного мышления» [50].

В целом можно констатировать, что естественный интерес к Палацкогу, его жизни и творчеству, стремление объективно оценить его разноплановую и неоднозначную теоретическую и практическую деятельность на протяжении рассматриваемого периода в чехословацкой историографии сохранялись, о чем свидетельствует и относительная многочисленность научных статей о нем. Остается, однако, сожалеть, что за эти годы не возникло еще фундаментального синтетического марксистского труда о нем. Предпринятая М. Етмаровой попытка, как мы видели, привела лишь к частичному решению этой задачи, причем следует признать, что ее книга 1961 г. в значительной мере сохранила слабые места, отмеченные Р. Пражаком еще применительно к статье 1956 г. (особенно относительно недостаточной обоснованности некоторых ее положений фактическим материалом) [27, s. 75].

Таким образом, в работах чехословацких авторов последнего тридцатилетия Палацкий предстает как выдающийся для своего времени ученый — историк и философ, организатор многих важных национально-культурных акций, сыгравший своими историческими трудами и будительской деятельностью прогрессивную в целом роль в процессе чешского национального возрождения, формирования национального самосознания, национальной культуры. В то же время в большинстве этих работ Палацкий характеризуется — в отличие от буржуазной историографии — не как «отец народа», духовный и политический «вождь нации» и т. п., а как лидер, духовный и политический руководитель чешской либеральной буржуазии, как один из главных виновников того, что возглавленное этой либеральной буржуазией чешское национальное движение оказалось в противоречии и пришло к столкновению с интересами европейской и австрийской революции, иными словами — как «отец» чешской либеральной буржуазии и чешского буржуазного национализма, игравшего, естественно, как и всякий буржуазный национализм, различную роль в разных исторических условиях, на разных этапах исторического развития. С таким подходом к оценке общественно-политической деятельности Палацкога в принципе не расходится и изложенная нами в работах начала пятидесятых годов [1; 46] точка зрения относительно исторической роли Палацкога в чешском национальном возрождении и в революционных событиях 1848—1849 гг.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Удальцов И.* К характеристике политической деятельности Франтишка Палацкога. — Вопросы истории, 1950, № 10.
2. *Bartoš F. M.* Počátky Františka Palackého v Praze. — Jihočeský sborník Historický, 1969, № 1, s. 33—42.
3. *Čejchan V.* Rusofilství Františka Palackého po r. 1848. — Slovanský přehled, 1966, № 1, s. 1—14.
4. *Dvorský J.* Palacký očima naší doby. — In: Palacký F. Úvahy a projevy z české literatury, historie a politiky. Praha, 1977, s. 487—498.
5. *Hanzal J.* Palackého kulturní program před rokem 1848. — Česká literatura, 1976, s. 122—132.
6. *Haubelt J.* František Palacký a gelasius Dobner. — Československý časopis historický, 1976, № 6.
7. *Haubelt J.* Poznámky ke vzniku Palackého ideologie českých dějin. — Česky lid, 1976, s. 197—203.
8. *Havlík L.* Palackého koncepce počátků českých dějin a Slovanů v politickém programu národního obrození. — Slovanský přehled, 1976, № 3.
9. *Havránek J.* Fr. Palacký — politik a jeho doba. — In: Památník Palackého. 1798 — 1968. Ostrava, 1968.

10. *Huško J.* František Palacký a Slovensko.— Československý časopis historický, 1977, № 1.
11. *Husa V.* Smeralovo hodnocení Palackého vykladu českých dějin.— In: Zápisky katedry československých dějin a archivního studia filosoficko — historické fakulty Karlovy University. Praha, 1958.
12. *Charvat J.* O Františku Palackém.— In: F. Palacký. Z dějin narodu českého. Praha, 1973, s. 235—240.
13. *Jetmarová M.* František Palacký. Praha, 1961.
14. *Jetmarová M.* K hodnocení společenských názorů Palackého před rokem 1848.— In: Filosofický časopis, 1956, № 6, s. 843—867.
15. Korespondence Pavla Josefa Safarika s Františkem Palackým. K vydání připravily V. Bechyňová, Z. Hauptová. Praha, 1961.
16. *Kutnar F.* František Palacký jako historik a politik. Praha, 1971.
17. *Kutnar F.* Palackého pojetí společnosti, národa a statu.— In: Kutnar, Králík, Bělič. Tři studie o Fr. Palackém. Olomouc, 1949.
18. *Machovec M.* Fr. Palacký a česká filosofie. Praha, 1962.
19. *Mikulka J.* František Palacký a polská otázka.— Slovanský přehled, 1976, № 3, s. 229—240.
20. *Nehybl J.* Styky Jana Winklera s Františkem Palackým po roce 1826.— Slezský sborník, 1953, № 4, s. 558—563.
21. *Nejedlý Z.* František Palacký.— In: Nejedlý Zd. Spisy. Díl XVI. O smyslu českých dějin. Praha, 1952.
22. *Novotný K.* František Palacký a dělnická otázka.— Československý časopis historický, 1977, № 5, s. 715—731.
23. *Novotný K.* Konference o významu díla Františka Palackého.— Slovanský přehled, 1977, № 4—5, s. 356—358.
24. *Otcovský J.* O hlavních směrech pojetí českých dějin u německých historiků období kapitalismu.— Časopis Matice moravské, 1979, № 1—2.
25. Rozhovor s F. Palackým.— Dějiny a současnost, 1968, № 9.
26. Pocta Františku Palackému. Vaclákova Olomouc 1976. Red. J. Dvořák, F. Valouch, M. Pospichal. Olomouc, 1979.
27. *Pražák R.* Palacký a Mad'afi před rokem 1848.— Časopis Matice moravské, 1958, № 1—2, s. 74—99.
28. *Šamberger Z.* Palackého první archivní výzkumy po příchodu do Prahy (1823—1828).— In: Sborník archivních prací. Praha, 1980, № 1.
29. *Sestak M.* Palackého «Idea statu Rakouského».— Slovanský přehled, 1976, № 3.
30. *Šimeček Zd.* K metodologii díla Františka Palackého.— Slovanský přehled, 1976, № 3.
31. *Sindělář B.* František Palacký a dělnická třída.— Časopis Matice moravské, 1952, № 1—2, s. 1940.
32. *Smeral B.* Palacký a naše doba.— In: Smeral B. Historické práce 1908—1940. Praha, 1961.
33. *Smerda M.* František Palacký a česká národní ideologie v době obrození.— Slovanský přehled, 1976, № 3.
34. *Špet J.* František Palacký a jeho snahy o ochranu a využití kulturního dědictví.— In: Časopis národního muzea — Historické muzeum. Praha, 1976, № 1, s. 19.
35. *Špet J.* Národní muzeum a František Palacký v pravopisných sporech let 1846—1850.— In: Časopis národního muzea — Historické muzeum, Praha, 1976, № 2, s. 95—114.
36. *Špet J.* Zamyšlení nad dílem a odkazem Františka Palackého.— In: Časopis národního muzea — Historické muzeum, Praha, 1976, № 2, s. 57—62.
37. *Šťastný V.* K politické aktivitě Františka Palackého v době obnoveného ústavního života.— Slovanský přehled, 1976, № 3.
38. *Štefek K.* Kapitoly z dějin politických ideologií. Český liberalismus a česká radikální demokracie. Hradec Kralové, 1978.
39. *Válka J.* František Palacký.— Dějiny a současnost, 1965, № 1.
40. *Válka J.* Fr. Palacký — historik.— In: Památník Palackého 1798—1968. Ostrava, 1968.
41. *Válka J.* Německá a česká verze Palackého Dějin.— Sborník prací Filosofické Fakulty Brněnské university, C. 15, 1968.
42. Dějiny a současnost, 1968.
43. *Nejedlý Z.* Dějiny národa českého. Díl první. Starověk. Praha, 1949, s. 72.
44. *Nejedlý Z.* Odkaz našich národních dějin. Referat z I. ústřední konference ideových a výchovných pracovníků KSC. Praha, 1947, s. 9—10.
45. *Руколь Б. М.* Чехословацкая историография в XIX в. В кн.: Историография нового времени стран Европы и Америки. М., 1967, с. 393—395.
46. *Удальцов И. И.* Очерки из истории национально-политической борьбы в Чехии в 1848 г. М., 1951.
47. *Удальцов И. И.* Z dějin národních a politických bojů v Čechách r. 1848, Praha, 1954.
48. Františka Palackého korespondence a zápisky. K tisku připravil V. J. Nováček. Díl. I. Autobiografie a zápisky do r. 1863. Praha, 1898; díl. II. Praha, 1902.
49. Památník Palackého. 1798—1968. Ostrava, 1968.
50. *Bělka F.* Kapitoly z dějin českého revolučního myšlení. Havlíčkův Brod, 1960, s. 110—122.



ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ М. ДРИНОВА В ХАРЬКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (1873—1906)

Профессор Марин Дринов (1838—1906) — видный болгарский и русский славист, известный общественный деятель, внес значительный вклад в развитие как болгарской, так и русской науки. За тридцать лет работы на кафедре славянской филологии историко-филологического факультета Харьковского университета прочитал разнообразные лекционные курсы по истории, литературе и языкознанию зарубежных славян, подготовил немало учеников и последователей. Центральное место в его педагогической практике занимали курсы по истории южных и западных славян, что было логическим следствием его научных интересов: Дринов был прежде всего историком. О Дринове как вузовском педагоге упоминается почти во всех работах, посвященных его жизненному и творческому пути [4—5]. Специально профессорской деятельности Дринова посвящена обстоятельная статья И. С. Ильчук [5, с. 74—104]. Однако во всех этих работах лекции Дринова лишь перечислены. Проанализировать их содержание позволяют многочисленные научно-педагогические материалы, хранящиеся в личном архиве Дринова в Софии: литографированные издания ряда курсов, автографы лекций и лекции в записях студентов, черновые наброски и программы преподавания [6]. Эти разнообразные материалы, до сих пор еще неизученные, расширяют наше представление о Дринове как ученом — слависте и педагоге.

Марин Степанович Дринов родился 20 октября 1838 г. в небольшом болгарском городке Панагюриште, в семье бедного многодетного ремесленника. В 1852—1855 гг. он обучался в местном четырехклассном училище, по окончании которого там же был назначен учителем. Осенью 1858 г. для получения дальнейшего образования он отправляется в Россию. В 1858—1861 гг. он учился в Киевской духовной семинарии, в 1861—1865 гг. — в Московском университете, на историко-филологическом факультете. Закончив университет со степенью кандидата, Дринов становится домашним учителем в семье княгини Е. А. Голицыной. С Голицыными в конце 1865 г. он выезжает за границу. Пребывание в Швейцарии, Чехии, Италии Дринов использует не только для добывания хлеба насущного, но и для упорных научных занятий в знаменитых библиотеках и архивах Женевы, Праги, Рима, Неаполя, для совершенствования в языках тех стран, где ему довелось жить. В результате неустанных трудов появились первые научные сочинения Дринова по истории Болгарии. В Праге были написаны, а затем в 1869 г. в Вене отпечатаны два важнейших исследования Дринова — «Взгляд на происхождение болгарского народа и начало болгарской истории» и «Историческое обозрение болгарской церкви с самого ее начала и до сегодняшнего дня». Во второй половине 60-х годов начинается и активная общественная деятельность Дринова: он принимает

деятельное участие в создании болгарского научно-просветительского общества «Болгарского книжного дружества» (БКД) в Браиле. Осенью 1870 г. Дринов вернулся в Москву. Сдав затем магистерские экзамены, он приступает к работе над диссертацией по истории заселения Балканского полуострова славянами.

Для своей работы Дринов избирает Харьковский университет, один из четырех российских университетов, где согласно уставу 1835 г. были открыты славистические кафедры. В Харькове была учреждена кафедра славянской филологии, которую последовательно занимали известные русские слависты И. И. Срезневский и П. А. Лавровский. С 1869 г. кафедра была вакантной, и факультет усиленно подыскивал подходящего кандидата. Дринов не был в то время лично знаком с харьковскими учеными, и установлению необходимых контактов с ними Дринову помог историк В. В. Макушев, к которому Дринов обратился в январе 1871 г. за содействием [7, с. 201]. По совету Макушева и П. А. Лавровского Дринов в начале сентября 1871 г. сообщил Н. А. Лавровскому, тогдашнему декану историко-филологического факультета Харьковского университета, о своем желании преподавать славистические дисциплины на кафедре славянской филологии. Дринов уведомлял Н. А. Лавровского и о ходе работы над магистерской диссертацией¹. В ответном письме Н. А. Лавровский сообщал, что факультет ждет именно Дринова и потому не объявляет конкурса на замещение вакантной должности профессора славянских наречий [4, ед. хр. 166, л. 1]. В. В. Макушев и П. А. Лавровский советовали Дринову поспешить с защитой диссертации. Макушев даже счел уместным заметить следующее: «Лавровский удивляется, что вы откладываете так надолго представление диссертации, имея на руках уже готовое сочинение. Удивляюсь этому и я, и совершенно согласен с Лавровским, что при имени, которое вы уже составили, посмотрели бы на вашу диссертацию, как на необходимую формальность» [7, с. 202]. На скорейшем завершении работы настаивали и в Харькове, откуда Дринову сообщали, что в случае защиты магистерской готовы принять его с нового, 1872, года [7, с. 209]. Но даже чрезвычайно стесненные жизненные обстоятельства, неустроенность, безденежье, не заставили Дринова изменить важному принципу, которому он следовал постоянно: тщательность, основательность и неторопливость в научной работе. «Диссертация моя медленно продвигается вперед, — уведомлял он Макушева в январе 1872 г., — несмотря на то, что я посвящаю ей все свое время. Нужно признаться, что я пишу совершенно новое исследование о происхождении болгарского народа» [7, с. 209]. Наконец поставлена точка, но оказалось, что необходимых для напечатания законченного труда денег у Дринова нет. Тогда, снова по совету Макушева, Дринов обращается с просьбой о денежной помощи к Н. А. Лавровскому [6, ед. хр. 166, л. 3]. При активном содействии последнего 28 сентября 1872 г. Дринов был утвержден стипендиатом Харьковского университета «с целью приготовления к профессорскому званию» и поручен «наблюдению соответственно факультета и особому руководству профессора Буслаява» [6, ед. хр. 166, л. 5] (выделено в документе. — Л. Г.).

Защитив 2 мая 1873 г. в Московском университете магистерскую диссертацию на тему «О заселении Балканского полуострова славянами» и получив степень магистра славянской словесности, Дринов становится доцентом кафедры славянской филологии Харьковского университета. В конце мая 1873 г. он приехал в Харьков для прочтения обязательных по тогдашним правилам пробных лекций. На заседании Совета историко-филологического факультета Дринов прочел две лекции. Одну — на избранную им самим тему «Критический обзор сказания Константина Багрянородного о водворении славян на Балканском полуострове», другую — на предложенную факультетом тему «О родине древнеславянской литературы».

¹ О письме Дринова Н. А. Лавровскому от 2 сентября 1871 г. узнаем из ответного письма адресата [4, ед. хр. 166, л. 1].

В конце лета 1873 г. Дринов переехал в Харьков. Незнакомый город, непривычное окружение — все это на первых порах тяготит молодого преподавателя. В письмах, отправленных им в ту пору московским друзьям, — нескрываемая тоска. Вот, что писал тогда Дринов своему земляку и сокурснику по Московскому университету Н. Бончеву: «Уже 10 дней, как я в Харькове. Поселился на один месяц в гостинице... Лекции начнутся 20 сентября. Готовлюсь, но работа не спорится, поскольку одиночество сковало дух [6, ед. хр. 2, л. 136—137]. Очень тяжело». «Здоров, но все еще не могу привыкнуть к здешней жизни», — писал он тому же адресату в середине ноября 1873 г. [6, ед. хр. 2, л. 140—141]. Но постепенно новая работа захватывала. 20 сентября 1873 г. Дринов прочел харьковским студентам свою первую лекцию, посвятив ее истории славяноведения. Начинаящий лектор был солидно подготовленным ученым, что и позволило ему сразу же отважиться на освещение одной из наиболее сложных проблем курса по славяноведению — проблемы историографической. Кроме того, такая лекция была в известной степени программной для Дринова, так как в ней он впервые попытался определить свои задачи как университетского преподавателя. «Позвольте мне, м[илостивые] г[осудари], — обратилась Дринов к своим слушателям, — начать с объяснения причины того внутреннего волнения, которое я испытываю, восходя на эту кафедру, и которое, без сомнения, вы прочли уже на моем лице, замечаете и в голосе. Кафедра эта не новая — она имеет, хотя и непродолжительную, но славную историю. С нее учили Срезневский и Лавровский — громкие имена в славянской науке. Сумею ли я хоть сколько-нибудь поддержать доброе имя, снисканное этой кафедре такими именитыми деятелями? Смогу ли хоть сколько-нибудь ответить на те же ожидания, которые вы вправе возлагать на того, кто осмелился назваться их преемником? Я только одно могу обещать — это любовь к своему предмету и усердную готовность его процветанию» [8, с. 505].

Стоящая перед лектором задача была чрезвычайно сложна: освещение в одной лекции огромной проблемы требовало незаурядного педагогического мастерства. На помощь пришли знания, добытые кропотливым научным трудом. С кафедры прозвучали выводы, высказанные ранее в опубликованных работах. Дринов отмечал, что славяноведение как наука возникло в конце XVIII в. в связи с национальным возрождением южных и западных славян, которое пришло на смену темному и безотрадному в жизни зарубежного славянства периоду упадка, охватившего XVII и значительную часть XVIII в. На этот процесс в Чехии и Польше в значительной мере повлияли идеи западноевропейского Просвещения, а южнославянскому возрождению способствовали успешные результаты русско-турецких войн [8, с. 507]. Для современного историка совершенно очевидны существенные изъяны этой концепции, не учитывавшей внутренние, т. е. главные, факторы процесса. Согласно Дринову, национальное возрождение славян начиналось как бы на пустом месте. В следующей части лекции Дринов представлял своим слушателям блестящую плеяду славистов — Добровского, Ганку, Юнгмана, Копитара, Востокова, Шафарика, Миклошича, Григоровича, Срезневского, Бодянского, Ягича и др., кратко оценивая самое существенное в их деятельности. Речь лектора была меткой и образной. Говоря о Копитаре, Дринов замечал, например: «Он обладает необыкновенным критическим тактом и ловкостью в подборе доказательств в свою пользу, так что публика считает его победителем и тогда, когда правда на стороне его противников» [8, с. 511].

В лекции, построенной в основном на анализе творчества видных представителей славяноведческой науки, нашли место и важные заключения о славистике и этапах ее развития, а также анализ ее главных отраслей — языкознания, литературы и истории южных и западных славян. Подчеркивая успехи славяноведения, Дринов специально выделял его неизученные проблемы: «по весьма крупным вопросам, касающимся древнеславянской письменности, еще не произнесено последнее слово, укажу для примера на вопрос о начале письменности у славян, об отношении кириллицы к глаголическому письму, ... мы далеки от полного воссоздания славян-

ской мифологии..., лишь положено начало собиранию и изучению памятников юридического быта славян» [8, с. 516]. Выступление Дринов завершал высокой оценкой общественного значения науки славяноведения: «Обязанная своим началом возрождению славян, стремлению их к самосознанию, она оказала и продолжает оказывать великие услуги этому движению, укрепляет чувства взаимности» [8, с. 518].

Этой вступительной лекцией Дринов предварял общий курс по славяноведению. Сохранилась программа этого цикла, черновые наброски к нему [6, ед. хр. 8, л. 1—2]. Судя по этим материалам, первый общий курс Дринова состоял из лекций по истории южного славянства в период средневековья, что легко объяснимо: начинающий лектор излагал сюжеты, близкие его исследовательским интересам. Первая посвящалась славянам в древности, вторая — «этнографическому обзору болгар, сербов, хорватов и словенцев», следующие последовательно вопросам заселения славянами Балкан, истории Первого болгарского царства, византийского господства и Второго болгарского царства, затем средневековой истории хорватов, сербов и далматинцев. Изложение доводилось до завоевания Балканского полуострова Османской империей. Следующую большую часть курса занимала средневековая литература южных славян. Дринов подробно останавливался на узловых проблемах ее истории: времени изобретения славянской письменности, соотношении кириллицы и глаголицы, основных этапах развития болгарской, сербской и хорватской литературы. Литературная часть курса в отличие от исторической доводилась до середины XIX в. и включала «обзор состояния сербо-хорватской письменности в первые века турецкого ига» и «краткий очерк новой письменности сербов и болгар». Общий курс был рассчитан на семестр и читался компактно. Уже к середине октября Дринов прочитал десять лекций из четырнадцати. В курсе обращает на себя внимание преобладание исторических сюжетов и почти полное отсутствие западнославянской проблематики. Лишь позднее, усиленно занимаясь историей Польши и Чехии, Дринов заполнил эту лауну. В архиве ученого имеется значительное число черновых записей по истории западных славян. Среди них «Заметки к чешской истории» [6, ед. хр. 8, л. 455—462], «Заметки по истории Полабских и Прибалтийских славян» [6, ед. хр. 8, л. 469—475], «Материалы к истории Польши» [6, ед. хр. 8, л. 476—505] и др. Преподавательская и научная деятельность Дринова в Харьковском университете продолжалась успешно. Он старательно совершенствует общий курс, пишет языковедческую статью о болгарском правописании и историческую — о начале Самуиловой державы, выступает главным оппонентом по докторской диссертации А. А. Потебни, активно участвует в работе Болгарского книжного общества, работает над своей докторской диссертацией. В середине февраля 1874 г. Дринов подал заявление с просьбой о командировании его «за границу с ученой целью на один год и четыре месяца» [9, л. 160]. Намеченная поездка состоялась не сразу. Приехав в мае 1874 г. в Москву и узнав, что разрешение из Петербурга надо ждать до нового, 1875, года, Дринов возвращается в Харьков и осенью 1874 г. начинает свой второй учебный год в университете, посвящая подготовке к лекциям почти все свое время. «Я сейчас так занят своей университетской работой, что не имею совсем свободного времени», — сообщал Дринов одному из членов «Настоятельства» БКД Т. Пейову [10, с. 421].

Главной научной задачей продолжала оставаться работа над докторской диссертацией на тему «Южные славяне и Византия в X веке». «В этом году я должен непременно защитить докторскую диссертацию. Работаю, как вол, от рассвета до полуночи», — писал Дринов Н. Бончеву [6, ед. хр. 2, л. 165]. Он стремился по возможности скорее завершить докторское сочинение, так как предстоящую командировку за границу был намерен посвятить «собиранию материалов для истории языка (болгарского. — Л. Г.) и его современного состояния» и хлопотам по активизации деятельности БКД [10, с. 458].

В августе 1875 г. началось долгожданное научное путешествие. Месяц Дринов провел в родном Панагюриште, десять дней — в Константино-

поле, затем три с половиной месяца в Праге. 10 февраля 1876 г. прервав на время командировку, Дринов приехал в Москву для защиты диссертации [6, ед. хр. 2, л. 173]. 23 марта 1876 г. на заседании Совета Московского университета он успешно защищает докторскую диссертацию, получив степень доктора славянской словесности. 18 сентября 1876 г. Дринов был утвержден в звании экстраординарного профессора, а 16 апреля 1877 г. — ординарного [9, л. 161, 164].

Продолжив прерванное защитой диссертации пребывание за границей, Дринов живет и работает в Варшаве, Кракове, Познани, Праге и Вене. В сентябре 1876 г. он возвращается в Харьков. Подготовка и защита докторской диссертации, сбор научных материалов в библиотеках и архивах за рубежом приумножили творческий багаж профессора, но в то же время именно 1876 год стал одним из наиболее тяжелых для него. В апреле 1876 г. Болгарии развернулось, а затем было зверски подавлено восстание болгарского народа против османского ига. Одним из наиболее активных центров движения стало родное Дринову Панагюриште. Последующие репрессии турецких властей коснулись и родных Дринова. Одобряя революционное выступление болгарского народа в апреле 1876 г., Дринов в то же время болезненно переживал трагедию Болгарии. «Я вернулся в Харьков совсем больным, не столько телесно, сколько душевно», — читаем в письме Дринова К. Иречку от 1 октября 1876 г. [11, с. 129]. Считая себя обязанным сообщить российскому обществу о героических событиях истории болгар, он прочел в Харьковском университете в ноябре 1876 г. публичную лекцию на тему «Болгария накануне ее погрома». Кратко рассказав о средневековой истории Болгарии, Дринов далее поделился с аудиторией своими впечатлениями о путешествии по Болгарии летом 1875 г. Особенно подробно Дринов знакомил слушателей с положением в Пловдивской области, которая стала центром восстания.

В 1876 г. Дринов вновь читает общий курс по славяноведению, совершенствуя его и пополняя новыми материалами. (Курс по славяноведению 1876/77 г. сохранился в отрывочных записях студентов) [6, ед. хр. 8, л. 1150—1165]. Подготовка к лекциям поглощала массу времени. В одном из писем Дринов жаловался Иречку: «Этой зимой ничего не мог произвести на свет. Во-первых, мои лекции отнимают много времени, а во-вторых, душа моя неспокойна» [11, с. 137]. Этим циклом Дринов преследовал цель «пополнить общее образование студентов первых двух курсов и дать нужную подготовку тем, которые намерены продолжить свое специальное образование в славяно-русском отделении нашего факультета» [6, ед. хр. 8, л. 1150]. Лекции группировались по четырем важным разделам: славяне в древности, этнографический обзор, политическая история и история славянских литератур.

1877-й год принес большие перемены. Начавшаяся русско-турецкая война 1877—1878 гг. надолго оторвала Дринова от кафедры, библиотек и архивов. 7 июля 1877 г., подав заявление об отпуске, он выехал на родину, где принял активное участие в административном управлении освобожденной русскими войсками Болгарии. Вначале Дринов был причислен к канцелярии князя В. А. Черкасского, затем, в декабре 1877 г., назначен вице-губернатором Софии, а в мае 1878 г. — министром народного просвещения и духовных дел в Совете русского комиссара в Болгарии князя А. М. Дондукова-Корсакова. Плодотворная деятельность Дринова на важных административных постах в Болгарии продолжалась до осени 1879 г., когда он снова, на этот раз навсегда, вернулся в Россию. Сложный вопрос о причинах его возврата в Харьков не может быть обстоятельно рассмотрен в рамках настоящей статьи. Главным, что повлияло на принятие столь странного на первый взгляд решения, было желание Дринова заниматься научно-педагогической работой.

В осеннем семестре 1879 г. Дринов приступил к работе на кафедре и принялся за подготовку цикла лекций по славяноведению на тему «История литературы западнославянских племен в связи с их политической историей» [6, ед. хр. 8, л. 463—468, 769—1004]. Новый курс дополнял прежний, в котором отсутствовала история западных славян. Чтение его

профессор открыл следующим заявлением: «Само собой разумеется, что в течение одного учебного года, посвящая этому лишь два часа в неделю, нет возможности вдаваться в подробное изложение этого обширного и спорного предмета. Я постараюсь ознакомить вас в общих чертах с прошлой политической и духовной жизнью, равно как и с современным положением западнославянских племен. Для тех из нас, которые бы пожелали подробнее познакомиться с западным славянством, считаю нужным теперь же указать на более доступные пособия с кое-какими заметками о каждом из них» [6, ед. хр. 8, л. 463]. В этом цикле лекций освещалась история Чехии, Польши и полабско-прибалтийских славян. Курс открывался этнографической характеристикой западнославянских племен, затем излагалась история первых государственных объединений западных славян — княжества Само, Великоморавской державы и история Чехии, преимущественно политическая. Дринов подробно останавливался на истории гуситского движения, которому давал высокую оценку. «Гуситские войны, — говорил он студентам, — событие единственное в истории. Маленький народ, поделенный при этом на несколько партий, отразил совокупные силы почти всей Западной Европы. Следует заметить, что во время этой войны прежние иноземные порядки в Чехии были ниспровергнуты». Важным был заключительный вывод: «Гуситское движение далеко не ограничивалось религиозными целями. К таборитам присоединялся простой народ, которого интересовали как религиозные, так и социальные вопросы и который стремился к свободе, хотел уничтожить прежние общественные порядки» [6, ед. хр. 8, л. 799]. Обычно мало интересующийся социально-экономическими сюжетами, в этом курсе лекций Дринов подробно останавливался и на них, характеризуя внутреннее положение в Чехии после Белогорской битвы, когда «крепостное право становилось невыносимым бременем для сельского народа, городское самоуправление было подавлено гнетом имперских чиновников, немецкий язык стал исключительным языком общества и правительства. Иезуиты восстановили католицизм во всей его исключительности [6, ед. хр. 8, л. 806]. Большой раздел курса составил обзор истории чешской литературы, подразделяемый на три периода: древнейший — с возникновения славянской письменности и до Гуса, средний — от Гуса и до половины XVIII в. и новый — с конца XVIII в. и до современности. Лектором отмечалось при этом, что некоторые ученые делят средний период на два — до Белогорской битвы и после нее. В лекции подробно анализировались более или менее важные памятники чешской письменности, высоко оценивался уровень чешской средневековой культуры. «Чехия становится во главе образованных стран Европы» [6, ед. хр. 8, л. 815], — подчеркивал лектор, имея в виду вторую половину XIV в. Излагая спорные проблемы, Дринов обычно старался высказать и собственное мнение, а иногда ограничивался указанием на противоборствующие гипотезы, как, например, в вопросе о Зеленогорской и Краледворской рукописях. В курсе рассматривалась деятельность чешских будителей и «их труды, посвященные славному, но пришедшей в полное забвение исторической жизни чешского народа» [6, ед. хр. 8, л. 847]. В метких характеристиках представляли перед студентами видные деятели чешского возрождения В. Ганка, П. Шафарик, Ф. Палацкий и др.

Историю Польши Дринов освещал, начиная со времени возникновения польского государства и до конца XVI в. Он подробно рассказывал о различных теориях происхождения польской народности, подчеркивая, что «самая новейшая теория отрицает участие внешних пришельцев-завоевателей в образовании польского государства» [6, ед. хр. 8, л. 479]. В этом разделе Дринов сосредоточивал свое внимание лишь на политической истории Польши, деятельности ее правителей и войнах, которые они вели с соседями, преимущественно немцами. Сравнение чешской и польской части курса позволяет заключить, что первой Дринов отдавал предпочтение, разрабатывал более основательно и представлял слушателям ярче.

В 1881/82 учебном году Дринов подготовил еще один славяноведческий цикл лекций, который был посвящен «Истории литературы южных славян в связи с их политической историей». Сохранившееся литографированное

издание этого цикла и авторские конспекты [6, ед. хр. 8, л. 507—606, 1168—1206] облегчают его характеристику. В значительной мере он повторял прежний общий курс, посвященный южным славянам, и в то же время отличался от него: был более подробным и проблемным. Начинаясь он с вопроса расселения славян на Балканском полуострове, прихода туда протоболгарских дружин и первых контактов пришельцев со славянами. В лекции повторялся вывод, ранее сделанный профессором в его научных трудах, о роли протоболгар в создании средневекового болгарского государства. Далее следовало подробное изложение основных событий истории Первого болгарского царства и византийского господства в Болгарии. «Древнейшая история хорватов, сербов и других далматинских племен» выделялась в специальную лекцию. Дринов подвергал сомнению сведения, сообщаемые Константином Багрянородным о славянской колонизации Балкан во второй половине VI в., и развивал гипотезу о более раннем расселении славян в этих областях. Раздел курса завершался важным итоговым заключением: «XI веком заканчивается древнейший период истории южного славянства. В течение этого периода большая часть этого славянства, разделенного на многочисленные племена, объединялась. На месте прежней племенной разрозненности мы находим два народа — болгарский и хорватский» [12, л. 539]. Следующие разделы лекции посвящались истории Сербии. По мнению Дринова, объединению сербских племен в государство мешали сильные соседи: болгары и хорваты, особенно болгары, «освободившись от давления которых, означенные племена быстро пошли по пути государственного и племенного объединения» [6, ед. хр. 8, л. 543], — утверждал Дринов, явно недооценивая важности других, более могущественных факторов, влиявших на процесс образования государства. Затем профессор освещал историю Болгарии и Сербии в XIV в. до турецкого завоевания. История южных славян в этом цикле завершалась краткой историей Словении.

Вторая часть курса отводилась истории южнославянских литератур и письменности, в ней подробно рассматривалась деятельность видных представителей болгарской и сербской культуры доосманского периода.

Чувствуя необходимость разработки основных проблем истории южных славян времени турецкого владычества, Дринов с 80-х годов усиленно занимается историей Болгарии и Сербии в XV — XVIII вв., в результате чего появляются его научные труды по османскому периоду южнославянской истории и специальный курс на тему «Краткий обзор внешних судеб и духовной жизни южного славянства с XV века до наших дней», впервые прочитанный в 1885/86 учебном году. Курс сохранился не полностью, а лишь в отрывочных, конспективных записях. Реконструкции курса помогают другие материалы, хранящиеся в архиве Дринова: это заметки по истории Болгарии и Сербии в османский период, по истории Черногории в XV — XIX вв. и др. [6, ед. хр. 8, л. 607—768, 13, л. 223—238].

В этом специальном курсе Дринов выступал против тех ученых, «которые пытались доказать, что турецкое владычество положило конец неурядицам, усобицам, анархии, водворило в этих странах тишину и благоденствие». Дринов заявлял, что «этому мнению, основывающемуся на иностранных свидетельствах, преимущественно итальянских, противоречат все, дошедшие до нас от того времени, домашние показания самих южных славян» [6, ед. хр. 8, л. 618] и отрицательно оценивал последствия турецкого завоевания Балкан, так как «завоевание их сопровождалось большими опустошениями. Высшие классы почти совершенно исчезли: частью были перебиты, частью были вынуждены выселяться в соседние государства, частью были принуждены принять ислам. Уцелевшее, преимущественно сельское население, было обращено в райю (т. е. почти рабов)». Большое внимание обращал Дринов на характеристику социально-экономического состояния южнославянского населения, подробно останавливался на анализе налоговой системы и аграрного режима османского государства. Положение южных славян чрезвычайно ухудшилось, по мнению Дринова, в конце XVI в., «когда турецкое государство,

достигшее своего апогея, начало распадаться», и стало подлинно трагичным к середине XVIII в., когда были уничтожены самостоятельные славянские патриархии — Охридская и Печская. С этого времени не только архиерейские кафедры, но и другие высшие духовные должности в Болгарии и Сербии начали занимать исключительно фанариоты, которые принялись эллинизировать славянский язык, уничтожать славянские книги, вводить греческое богослужение [6, ед. хр. 8, л. 231]. В курсе освещалась освободительная борьба балканских славян против турок, в частности Первое и Второе сербские восстания.

В 1886 г. Дринов приступил к чтению еще одного славистического курса — «Новая литература южных славян в связи с позднейшей их политической историей». Сохранилась черновая запись этого годовичного курса, включившего лекции по истории и литературе южных славян в XV—XIX вв. [6, ед. хр. 8, л. 1005—1082]. Подготовительные материалы к нему разделены на параграфы: 1 — турецкое завоевание Балкан, 2 — Сербия после Душана, Балшичи, Черногория, 3 — положение южнославянских земель под игом турок, 4 — войны Турции с европейскими державами, 5 — переселение сербов в Австрию, 6 — сербские восстания, 7 — положение в Болгарии, фанариоты, 8 — состояние южнославянских литератур, 9 — обозрение новоболгарской письменности. Записи возможных последующих параграфов курса не сохранились. Именно в этом цикле лекций Дринов излагал концепцию начала южнославянского возрождения, которую можно представить следующим образом.

Возрождению предшествовал период упадка южных славян, который начался еще в XV в., но особенно обострился к XVIII в., когда для сербов и болгар наступили «темные времена», несущие угрозу национальному существованию этих народов. Именно тогда в среде южнославянской эмиграции возникло движение по возрождению и развитию национальных культур балканских славян. В землях австрийских сербов широко развернулось просветительное движение. В Болгарии у истоков национального возрождения стоял Паисий Хилендарский. Концепция Дринова базировалась на признании в основном одной, идейно-духовной стороны возрождения без учета социально-экономической основы этого важнейшего процесса.

Лекции по истории южных славян в период возрождения Дринов дополнил затем лекциями по западнославянской истории. Курс «Лекции по новой истории западных и южных славян» Дринов прочел в 1893 г. [6, ед. хр. 8, л. 379—398].

Дринов охотно занимался историографическими проблемами. Он отводил им место в своих лекциях и научных сочинениях, а в 90-х годах приступил и к чтению специального курса по историографии зарубежных славян. Сохранившиеся отрывочные черновые материалы этого курса, к сожалению, не позволяют представить его в полном объеме. Судя по имеющемуся конспекту лекции «Историография западных славян» [6, ед. хр. 8, л. 399—447], Дринов сообщал студентам, что историография стала на научную почву в середине XVIII в., в Европе была представлена трудами Вико, Вольтера, Гердера, Юма и Гиббона. Важнейшим было заключение Дринова, что «развитие объема исторической науки находится в несомненной связи с непосредственным движением современных обществ и народов. Европейские события с конца прошлого столетия вызвали вопросы об истории политических учреждений, наполеоновские войны отразились в историографии особенным вниманием к судьбам племен и народов. Явилась почти вновь отрасль славяноведение» [12, л. 401]. В 80—90-х годах Дринов читал также курс источниковедения истории южных и западных славян, особенно подробный в южнославянской части [6, ед. хр. 13, л. 1—38].

Дринов читал в Харьковском университете лекции не только по истории, литературе, но и по языкознанию зарубежного славянства, вел практические занятия по славянским языкам. Все эти курсы, являвшиеся итогом большой научной работы над многими важными проблемами славяноведения, были прочитаны эмоциональным, влюбленным в свой пред-

мет профессором, воспринимавшим свою научно-педагогическую деятельность как служение русской и болгарской культуре. Преподаванию славяноведения Дринов уделял основную часть своего времени, постоянно беспокоясь о совершенствовании своих лекций и уровне подготовки студентов. Уже будучи смертельно больным Дринов писал 15 января 1905 г. профессору Бузескулу из Ялты: «Меня очень беспокоит то, что по причине моей болезни в подготовке по славяноведению оканчивающих в нынешнем году наших студентов имеются большие проблемы», и предлагал в следующем учебном году читать курс три часа в неделю вместо прежних двух [12].

Курсы лекций Дринова по истории зарубежных славян — важная часть его научного наследия, продолжение его научной работы. Многие выводы, сделанные Дриновым в исследованиях, прозвучали в устном изложении перед харьковскими студентами. Имея в виду славяноведческие университетские курсы Дринова, необходимо внести коррективы в существующее в историографии мнение об относительном застое в научной деятельности Дринова в конце 70-х — начале 80-х годов XIX в., когда из-под его пера не вышло крупных научных сочинений.

Мнение это вряд ли справедливо, так как именно к этому периоду относится усиленная работа Дринова над курсами лекций по истории, литературе и языкознанию зарубежных славян, которые явились неотъемлемой частью его вклада в развитие славяноведческой науки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сборниче за юбилея на проф. М. Дринов. 1869—1899. София, 1900.
2. Почесть. Сборник статей по славяноведению, посвященных проф. Марину Степановичу Дринову его учениками и почитателями. Харьков, 1908.
3. *Горинов Н.* Профессор М. С. Дринов. Животопис, научна и обществена дейност. София, 1936.
4. *Крачунов К.* Марин Дринов (1836—1906). Живот и дейност. София, 1938.
5. Исследования в чест на Марин Дринов. София, 1960.
6. Български исторически архив (БИА), ф. III (Личный архив Марина Дринова).
7. *Милкова Л.* Переписка Викентия В. Макушева с Марином Ст. Дриновым в 1869—1878 гг.— *Bulgarien Historikal Review*, 1981, № 1—2.
8. *Дринов М.* Успехи и задачи славяноведения.— В кн.: Съчинения на М. С. Дринова. Т. III. София, 1915.
9. Формулярный список о службе М. Дринова.— Центральный государственный исторический архив в Ленинграде, ф. 733, оп. 150, д. 1521.
10. Документи за историята на Българското книжовно дружество в Браила. 1868—1876. София, 1958.
11. Из архива на Константин Иречек, Преписка с българи. Т. II. Подбрал и подготвил за печат П. Миятев. София, 1959.
12. Архив АН СССР в Ленинграде, фонд 825 (В. П. Бузескул), оп. 2, ед. хр. 70, л. 9.



СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ — ДИАПАЗОН МНОГООБРАЗИЯ

У концепции социалистического реализма как «исторически открытой системы правдивого изображения жизни», которая находит свое теоретическое обоснование и развитие в трудах Д. Ф. Маркова [1—3], — много сторонников. И причина тому не только в привлекательности ее задач, благородство которых не могут не признать даже самые темпераментные ее оппоненты, — в утверждении проблемно-художественного многообразия социалистического искусства. И не только потому она встречает поддержку как у нас в стране, так и в братских социалистических странах [4], что защищает право на поиск, помогает искусству идти вперед, т. е. находит ту практическую отдачу, к которой всегда стремится передовая теоретическая мысль. За ней стоит реальный, полный драматизма, парадоксов, блистательных побед путь развития прогрессивной литературы XX в., разнообразнейшие судьбы художников, сомкнувшихся в едином строю поборников социально активного, правдивого искусства.

Обращает на себя внимание одна закономерность: концепцию эту прежде всего отстаивают литературоведы, чьи профессиональные интересы либо лежат в сфере сравнительного изучения литератур, что дает полноту картины, предостерегает от соблазнов строить теоретические выводы на суженном материальном фундаменте, либо связаны с исследованием творчества писателей типа Маяковского, Незвала, Брехта, Арагона и т. д., наглядно демонстрирующих разнообразие путей к социалистическому реализму, богатство стоящих за ним традиций и повышенную, по сравнению с реализмом, сложность его эстетической структуры.

Отстаивая и стимулируя «разветвленную дифференциацию форм образного претворения жизни» [5, с. 43], эта концепция не просто к чему-то зовет, но и обобщает богатейшую художественную практику, рассматривая социалистический реализм как плод развития многих литератур, как масштабное, интернациональное явление. В условиях активных литературных взаимодействий, которыми так отличается наша эпоха, это означает не только широкие географические рамки социалистического реализма, его место в мировом пространстве, но и его особое художественное качество, особую широту стилиевой палитры, куда внесли свои цвета и оттенки носители разных национальных и эстетических традиций.

Социалистический реализм отличается художественным богатством прежде всего в силу своей реалистической сущности, как искусство реалистического типа, как прямой наследник метода, покончившего с нормативностью и нацелившего художника на жизнь. Уже реализм, отменив эстетические каноны, необходимость следовать таким-то «литературным этикетам», предложив в качестве первоосновы образа повседневное жизненное впечатление и теснее, чем все предшествующие методы связав искусство с действительностью, стимулировал богатство художественных

форм, предопределенное богатством и разнообразием жизненного материала. Добавим, что настоящий художник — это всегда индивидуальность, со своим запасом впечатлений и знаний, с неповторимым почерком и лицом. А реалистическая поэтика не подавляет, а поощряет индивидуальную специфическое. Отсюда — богатейшая проблемно-художественная нюансировка реалистической литературы и залог разнообразия искусства, опирающегося на ее традиции.

Но диапазон художественных средств социалистического реализма особенно широк. Они разнообразнее, чем в реализме. Как в принципах социалистического реализма, так и в особенностях его биографии кроются некие дополнительные импульсы, стимулирующие расширение не только проблемно-тематического, но и формально-стилевого диапазона нового искусства. Скажем так: социалистический реализм позволяет искусству не только сохранить то многообразие, которое принес с собой его предшественник и союзник — реализм (а истину эту приходится отстаивать в полемике с теми, кто сводит социалистическую литературу к производственному роману), но и приумножить его.

Если перед реализмом стояли задачи художественного познания бытия, его связей и законов, то социалистический реализм не просто продолжает и углубляет эту задачу, опираясь на научное мировоззрение, но и стремится — на основе познанного и осознанного — воздействовать на бытие, активно участвовать в совершенствовании мира и человека. Творческий метод искусства революционной эпохи как бы преломляется в своих основополагающих принципах отличительный признак марксистской философии, пытающейся не просто объяснить мир, но изменить его. «Художник, познавший сущность и логику развития явлений жизни, совершенно свободен в выборе проблематики и форм для их образного претворения. Более того, именно в субъективно-творческом восприятии и претворении событий и явлений очерчивается его собственный облик, его неповторимость. Отсюда — разнообразие творческих индивидуальностей, жанров и стилей. От художника требуется не приглушение, а, наоборот, самое активное проявление субъективности. Это требование получает в социалистическом искусстве практически безграничные возможности для своей реализации. Оно выражено, в сущности, и в известном ленинском принципе партийности литературы, в котором сочетается объективное познание и личная активность художника» [5, с. 7—8].

Итак, не только пристальное внимание к действительности, т. е. к постоянно развивающемуся объекту (что характерно и для реализма досоциалистического), не только природа художественного творчества, в котором всякое «общее» преломляется, как «свое», но и «полифункциональность» нового метода, выполняющего комплексную задачу, совершающего сложную работу, стимулирует поиск, требует обогащения традиционного, устоявшегося диапазона художественных средств новыми приемами и формами.

Стремясь повысить общественную активность и оперативность искусства, социалистический реализм вырабатывает, осваивает, применяет экспрессивно-лирические, агитационно-публицистические, романтические, условные формы и начала. Он охотнее, чем реализм, отступает подчас от внешних форм самой жизни, чтобы оперативно выразить ее скрытую суть, ее философский смысл, те настроения и качества, которые не укладываются в «спокойные», естественные формы чисто реалистической поэтики. Вспомним гиперболы Маяковского, условность драматургии Брехта, полеты раскованной незаваловской фантазии. Особенно ярко эта черта метода проявляется в поэзии, где сами законы жанра располагают к интенсивной метафоризации и условности, к синтезу разных начал.

Социалистический реализм как бы стремится пополнить имеющийся в арсенале реализма запас художественных средств, опираясь при этом на опыт разных течений искусства и не отделяя себя от них глухой стеной. Это подмечала уже, например, чешская марксистская критика 30-х годов: «Концепция социалистического реализма очень широкая, она обобщает разные художественные явления современного искусства, если они

связаны общей точкой зрения на перспективу общественного развития к социализму... В центре его внимания — человек со своей судьбой, человек, изучаемый в своей конкретности, индивидуальности, и одновременно в своих типических чертах. Искусство социалистического реализма не только показывает социально-исторические процессы, но и участвует в них, способствуя приближению будущего и направляя ход развития общества... С точки зрения формы он не описывает действительность, хотя бы потому, что смотрит на нее под углом зрения диалектики, как на процесс, и потому, что использует все те позитивные художественные средства, которые выработало искусство последних десятилетий. Четко ориентируясь на реальность, что предохраняет его от ошибок идеалистических течений, он использует весь опыт современного искусства», — писал Б. Вацлавек в своей книге [6].

Компрометирует ли это самобытность социалистического реализма, его большие творческие потенции? Конечно же, нет. Опора на накопленный опыт, восприятие окружающей действительности (а искусство — его разные веяния, тенденции, токи — неотделимая ее часть) — процесс естественный, как дыхание, без которого нет жизни, нет развития. Важно лишь, что из окружающего отвергает, а что принимает художник, что вызывает в нем отклик, а что протест, что проникает в сознание, в творческую мастерскую, и в какой функции выступает в его собственном творчестве. И здесь встает проблема «индивидуальной избирательности», которую, в конечном итоге, определяет общественная и творческая позиция художника¹. Представитель социалистического реализма использует и опыт других течений в реалистической функции, во имя гуманистических задач. А грузом или подспорьем станет это «воспринятое», обогатит ли художника, или спровоцирует к подражаниям — это уже вопрос творческих способностей каждой конкретной личности, но никак не метода.

«Открытость» социалистического реализма ничего общего не имеет с механической всеядностью, с неразборчивостью в средствах. И это очень точно показывает формула Д. Ф. Маркова, фиксирующая не только широту диапазона социалистического искусства, но и те требования, которые оно предъявляет к себе, и те функции, которым подчиняет выработанные или воспринятые художественные формы [3, с. 58—59; 8].

Для социалистического реализма характерна острая полемика с эстетическими концепциями модернизма и авангардизма, которые обрекали художника на изоляцию от жизни, поощряли субъективизм. Но это не исключало произвольных или сознательных использований каких-то приемов, типичных для поэтики отвергаемых течений. Так, например, С. К. Нейман, один из крупнейших представителей чешской социалистической поэзии, полемизируя с декадентско-экзистенциалистскими тенденциями в творчестве Галаса, использовал такие формы галасовского стиха, как литания, но в иной функции: не для оплакивания, а для восславления человека, прекрасного и в пору увядания, на исходе честно прожитой жизни, не обезображенной, а облагороженной даже самым тяжким трудом. В письме к Б. Вацлавеку он писал: «В конце января в издательстве Борового у меня выйдет своего рода антипод к „Старым женщинам“ Галаса — „Старые рабочие“. Я не собираюсь вступать в какие-либо поэтические состязания, речь идет о вещах куда более серьезных, которые ты прекрасно понимаешь. Мелкобуржуазная тема, католическая образность и плаксивый пессимизм галасовского стихотворения показывает, что битву за Галаса мы проиграли, как впрочем, я и ожидал. Но об этом поговорим при встрече. Надеюсь, что „Старые рабочие“ тебе понравятся, только не знаю, не зря ли я применил такую же, как у него, форму. Но мне кажется, я при этом научился чему-то такому, что смогу использовать и потом» [9]. (Нейман, как показало развитие событий, ошибся в своей оценке Галаса. Сама жизнь, в конечном итоге, помогла выиграть битву за поэта, ставшего в первые ряды борцов-антифашистов и воплотившего

¹ Избирательность участвует во взаимоотношениях не только между национальными литературами (см. об этом [7]), но и между течениями.

в своих стихах герою Спротивления. Но не о том сейчас речь.) Бросает ли это признание тень на Неймана, что-то взявшего для себя «со стороны»? Скорее обнажает механику избирательного восприятия, пружины развития.

Многое вносилось в арсенал нового метода творчеством художников, пришедших к нему из символизма, футуризма, экспрессионизма, поэтизма, сюрреализма. Отход от этих течений ряда выдающихся художников, эволюционировавших к социалистическому реализму (эту эволюцию на разных этапах современной истории пережили и Маяковский, и Незвал, и Бехер, и Арагон, и Элюар, и Милев и многие другие) — одна из особенностей литературного процесса XX в., формирования социалистического реализма, постоянно испытывавшего приток сил не только из критического реализма, революционного романтизма, но и из авангардистских течений. Позиции социалистического реализма крепили под влиянием революционной и антифашистской борьбы 20—40-х годов. Позиции авангардизма под напором тех же процессов, событий, фактов — слабели. Авангардизм терял своих сторонников, социалистический реализм их обретал.

Степень отрицания своего авангардистского прошлого была у писателей разной, зависела от многих причин: и от характера течения, и от субъективных мотивов, которые связывали с ним, и от ситуации в отечественной литературе, от национальных традиций. Пересматривая в ходе эволюции свои взгляды, освобождаясь от субъективизма, оставляя позади пройденный этап, многие писатели брали с собой в будущее те выработанные навыки и приемы, которые стали частью их почерка, индивидуальной специфики, используя их отныне во имя реалистической цели «овладения действительностью».

Учитывая многообразие путей к социалистическому реализму и широкий спектр используемых им традиций, сторонники «открытой» концепции осознают их неравноправное участие в формировании метода.

Если критический реализм — его эстетическая основа — определил характер доминирующих и функцию всех «наличных» форм, если революционный романтизм, облегчив писателю воплощение новых идеалов и героев, дал новому искусству свой эмоциональный накал, свою вдохновенность (признанием его большой роли можно считать бытовавшее некогда определение социалистического реализма, как синтеза критического реализма и революционного романтизма), то авангардистские течения могли внести лишь отдельные художественные приемы и оттенки в поэтику нового метода. «Мы говорим о диалектике сложного творческого развития ряда художников, для которых процесс отказа от модернистских принципов восприятия и изображения мира был в то же время и процессом удержания элементов прежней поэтики, элементов, не связанных концепционно с модернистским подходом к действительности и органично включающихся в новую эстетическую систему. Сам факт отказа этих художников от старого и переход к новому — свидетельство неодолимой притягательной силы социалистического искусства». — пишет Д. Ф. Марков [2, с. 235].

Неслучайно, например, в послевоенные годы, в период острой борьбы за социалистический реализм как метод всей национальной литературы, Зденек Неедлы призывал писателей «учиться у классиков». Это означало утверждение тех традиций, тех основ, без которых новое искусство немислимо. Но в качестве определенного «подспорья» Неедлы не отрицал и формальный опыт новейших художественных течений, подчеркивая необходимость строгой фильтрации этого опыта, его переосмысления. «Не все, разумеется, что создало так называемое модернистское искусство в области форм, красок, интонаций может пригодиться искусству реалистическому. Многие там возникло на пути бегства от жизни, в ходе бесплодной игры с ирреальным. Это современному реалисту ни к чему, и он пройдет мимо этого. Но и он нуждается в поиске новых форм, ведь действительность богаче и неожиданнее самой причудливой фантазии. Поэтому и реализм может многое взять для себя из так называемого модернизма. Лексическое разнообразие, богатство образов, представлений, ассоциаций

характерны для его поэзии, и писатель-реалист может с благодарностью использовать его находки там, где они соответствуют его ощущению и пониманию действительности» [10].

Проблема художественного богатства — это во многом проблема художественной специфики социалистического реализма, одна из сложнейших в его изучении. Ее методологическая важность, к тому же, ясна далеко не всем. Об этом говорит хотя бы тот факт, что внимание к тому, «как» написано произведение, какие художественные средства (приемы, формы) использует писатель, познавая жизнь и воздействуя на нее, иногда рассматривается как своего рода ненужная роскошь, «архитектурное излишество», якобы отвлекающее от анализа содержательной стороны социалистического реализма.

Но ведь вопросы формы в искусстве — вопросы далеко не формальные. Форма там не столько «упаковка», оформление содержания, сколько его проявление, его материя, плоть, художочность которой неизменно скажется и на содержании, какие бы богатые замыслы ни владели писателем. «Бедный словарь убивает образность, бедная же образность не стремится к языковому богатству», — говорил один из самых содержательных чешских поэтов XX в. Иржи Тауфер, упрекая критиков и литературоведов в «невнимании к структуре произведений, стилю, образности» [11].

За иной формой, бывает, мало что стоит: иногда набор технических приемов, демонстрирующих ловкость пера. Форма может быть и бессодержательной, это так. Но содержание, выражающееся в произведении искусства, не может быть «бесформенным», в противном случае оно оказывается за пределами искусства. И если совершенная форма, адекватная содержанию, не бьет в глаза, не отвлекает на себя внимание и читателю незаметна, — это не значит, что ее не должен замечать и литературовед, ограничиваясь лишь идейно-тематическим анализом. «А ведь *как* написано в литературе значит несколько не меньше того, *что* написано. Не Америку открываю. Аксиома», — говорит советский критик А. Кондратович, реагируя на симптомы равнодушия к очень важным вещам [12].

Литературоведы, привлекающие внимание к проблемам художественной специфики социалистического реализма, исследующие его генезис, особенности и диапазон возможностей, способствуют его более глубокому и тонкому, более «профессиональному» анализу. Только исследование всех звеньев, всех уровней этой идейно-эстетической системы — от ее социально-философских основ до богатейшего стилизового регистра [4], поможет глубоко и всесторонне показать «преимущества и поистине неисчерпаемые возможности искусства социалистического реализма, его авангардную роль в художественном прогрессе современной эпохи» [5, с. 32]. К этому и призывают труды одного из ведущих теоретиков социалистического реализма Д. Ф. Маркова, семидесятилетие которого недавно было отмечено научной общественностью.

ЛИТЕРАТУРА

1. Марков Д. Ф. Генезис социалистического реализма. М., 1970.
2. Марков Д. Ф. Проблемы теории социалистического реализма. М., 1975; 2-е изд. 1978.
3. Марков Д. Ф. Исторически открытая система правдивого изображения жизни. — Вопросы литературы, 1977, № 1, с. 26—66.
4. Хорев В. А. Движение жизни — движение литературы. — Литературная газета, 1983, 29 июня, с. 2.
5. Марков Д. Ф. Системное единство социалистического реализма. — Вопросы литературы, 1983, № 1.
6. Václavěk V. Česká literatura XX století. Praha, 1974, s. 137—138.
7. Никольский С. В. Проблема избирательности интересов в процессе литературных связей и творческое взаимодействие литератур. — В кн.: Славянские литературы. VIII международный съезд славистов. М., 1978.
8. И вновь — проблемы метода. (Актуальные аспекты социалистического реализма.) — Вопросы литературы, 1977, № 7, с. 23.
9. Václavkova Olomouc. 1962. Ostrava, 1964, s. 397.
10. Nejedlý Z. Z české literatury a kultury. Praha, 1972, s. 340.
11. Tvorba, 1979, № 19, s. 16.
12. Кондратович А. Нишета многословия. — Литературная газета, 1983, 27 июня, с. 3.



ИЛЮШИН А. А.

О СИЛЛАБИЧЕСКОМ ПРИНЦИПЕ В СТИХОСЛОЖЕНИИ

Обострившийся в последние годы интерес к сравнительным исследованиям славянских стихотворных ритмов и метров неизбежно предполагает постановку вопроса о силлабическом принципе в версификации. Это естественно: проблемы силлабики бесспорно актуальны в изучении поэзии и западных, и восточных, и южных славян. Не столь очевидно другое: если силлабический принцип является законным и полновластным хозяином в недрах силлабической системы стихосложения, то так ли уж велика его роль вне ее? Например, в силлаботонике? Штудии русского стиха, вынесенные недавно на общеславянский стиховедческий форум, предваряются заявлением, согласно которому во второй половине XIX в. в нашей поэзии силлабический принцип соблюдался нестрого. Аргумент: в пределах одного стихотворения свободно совмещались разносложные строки [1]. Да, но ведь они, бывало, совмещались и в произведениях строжайших силлабистов XVII—XVIII вв., от сафических строф Симеона Полоцкого до стихов из «Езды в остров любви» раннего Третьяковского, и это никак не выглядело посягательством на силлабический принцип. Здесь возникает какая-то неувязка, в которой необходимо разобраться. Не претендуя на обобщения относительно типологии славянской силлабики в целом (это дело будущего и, вероятно, может быть достигнуто совместными усилиями славистов-стиховедов разных стран), обратимся к русскому материалу и рассмотрим его под определенным углом зрения, — сосредоточившись главным образом на проблеме «слог в стихе».

Итак, предметом предстоящих суждений будет слог, осознаваемый или же ощущаемый поэтами как единица стиха — не только собственно в силлабике, принявшей это в качестве основного закона, но и в других системах, среди которых особого внимания заслуживает силлаботоническая. При этом нас интересует некоторая часть семантического поля слова «слог»: его дублет «склад» и глагол «слагать» — «сложить», имеющий общий корень с существительным «слог». Эпизодически мелькала также форма — силлаб как компонент сложного слова «ендекасиллаб» (II-сложник) — термин, которым пользовался еще Кантемир [2] и который изредка применяется и сейчас [3].

Полезно заметить, что синонимы «слог» и «склад» имеют у нас еще и более широкое значение: стиль, способ изложения — применительно к художественной литературе. Указанное широкое значение координирует с узким. В этом смысле поэт — слогаписатель, т. е. своего рода силлабист (в какой бы версификационной системе он ни работал); в отличие, скажем, от законописателя, который как бы выступает скорее буквописателем (согласно выражению «буква закона»). При таком взгляде на изящную словесность, как на слогаписание, понятие «силлабика» (силлаба — слог) разрастается до столь грандиозных размеров, что становится

поистине всеобъемлющим, и возможность подобной гипертрофии следует иметь в виду.

Русский XVII век предельно сблизил стихотворство и слогиписание; сливал их воедино. Была соответствующая теоретическая установка, высказанная в кременецкой Грамматике 1638 г. (декларация силлабического принципа, часто цитируемая в работах наших украинистов). Имеется интересная статья чешской исследовательницы С. Матхаузеровой с красноречивым названием: «Слагати“ или „ткати“?» и с подзаголовком: «спор о поэзии в XVII в.» [4]. В ней речь идет о двух писателях того времени, разногласия которых касались отнюдь не только вопросов стихотворной техники и стиля, но и многих других проблем, вплоть до мировоззренческих, но нас в данном случае интересует исключительно версификационный аспект. Симеон Полоцкий, будучи последовательным силлабистом, «слагал» стихи, его оппонент Евфимий Чудовский предпочитал своего рода «ткачество» — любопытную разновидность «плетения словес». Исторически перспективной была позиция Симеона. Чешская исследовательница верно почувствовала, что «слагати» — это именно силлабический принцип, хотя и не договорила того, что, впрочем, можно было и не договаривать как нечто само собою для нее разумеющееся: «слагати» — значит писать слогами, или силлабами, следовательно, быть силлабистом, т. е. тут родственность слов «слог» и «слагать» имеет принципиальное значение.

Реформа стиха в XVIII в. выдвинула стопность, стопу как основную единицу измерения стиха. Вопрос ставился и решался так: стих надлежит мерить не слогом, как это делалось раньше силлабистами, а стопой. Такое решение стало на долгое время общепризнанным. Однако слог продолжал отстаивать свои права, и представление о нем как о первоэлементе стиха оказалось неискоренимым. Силлабический принцип в разработке проблем версификации не был изжит и после того, как исторически сложившаяся и прошедшая свой путь силлабическая система стихосложения прекратила свое существование как живое явление русской литературы, поэзии.

Бывали случаи, когда слог в стихе «загорался» особенно ярко, и строка становилась гирляндой, состоящей из вспышек-силлабов. Приведем наиболее красноречивый пример. В 1761 г. А. А. Ржевский написал «Оду, собранную из односложных слов». Вот ее первая строфа:

Как я стал знать взор твой,
С тех пор мой дух рвет страсть;
С тех пор весь стиб сон мой;
Стал знать с тех пор я власть [5].

Придерживаясь категорий силлаботоники, это стихотворение можно было бы охарактеризовать, как написанное ямбами и спондеями (едва ли — анапестами), но ведь вполне ясно, что здесь силлабический критерий гораздо важнее, чем стопный, силлаботонический: единица измерения стиха в данном случае, конечно же, не стопа, а слог, равный слову, на что недвусмысленно указывает и название «Оды». Перед нами — слогиписание, т. е. чистейшей воды силлабика.

Подобные редкостные примеры могут казаться курьезными и потому не очень показательными. Но они лишь заостряют то, что в более обычных ситуациях тоже дает о себе знать, хотя и не столь явно. В одной из пушкинских эпиграмм («История стихотворца»), отнюдь не претендующей на сверхизысканность стиховых форм (отмечена несоразмерность в этой эпиграмме односложных стихов ямбическим [6]), мы тем не менее сталкиваемся с любопытнейшим явлением: каждый четный стих — односложный, т. е. образован односложным словом (Свист — Лист; Слух — Бух!), что является предельно откровенной иллюстрацией к силлабическому принципу, согласно которому стих измеряется слогом (здесь нет иной возможности, т. е. стих просто-напросто равен слогу). Вообще пушкинские опыты в аспекте наших наблюдений и суждений требуют специального внимания — вопреки видимому отсутствию у Пушкина интереса к силлабике: наверное, и впрямь без его всеобъемлющего гения не обойтись в исследо-

вании любых стиховедческих проблем, пусть даже внешне безотносительных к творческой практике нашего поэта.

Вопрос «слагати или ткати?», поставленный XVII веком, в пушкинскую эпоху, разумеется, не был актуальным, а выражение «слагать стихи» воспринималось как вполне обычное, не натянутое, не какая-нибудь языковая метаформа, но то же самое, что «сочинять стихи» или «писать стихи». Между тем связь глагола «слагать» с существительным «слог» чувствовалась тогда, по-видимому, сильнее, чем теперь. У Пушкина иногда появлялась форма «слогата» вместо «слагать»: «Строфа слогаемая мной» (не только маленькая строка, но и большая 14-стишная — онегинская! — строфа помнит, что она в конечном счете состоит из слогов — «слагается»...). Бывало и так, что это слово возникало в контексте, который мог вызывать ассоциации с силлабикой. Речь идет о поэме «Полтава», воспроизводящей колорит соответствующей — «силлабической» — эпохи. В авторских примечаниях к поэме приводится надпись на могильной плите над прахом Кочубея и Искры в Киево-Печерской Лавре — надпись эта сделана силлабическими стихами, Пушкин их цитирует; в тех же примечаниях сказано о песнях, сочиненных Мазепой, который пробовал себя в роли стихотворца-силлабиста (правда, нигде Пушкин не говорит о силлабике прямо, не употребляет никаких слов с этим корнем). В тексте же поэмы сказано, что влюбленная в Мазепу Мария певала

Те песни, кои он слагал...

А «слагал» Мазепа именно силлабические песни, кое-что из которых сохранилось и, по-видимому, было известно Пушкину.

Героя романа «Евгений Онегин» допустимо воспринимать как некоего несостоявшегося «силлабиста» (как ни трудно говорить об этом всерьез: очень уж парадоксально звучит). «Не мог он ямба от хорея, / Как мы ни бились, отличить» — отталкивание от силлаботоники, от ямбов и хореев, позволительное для силлабиста, которому чужды и не нужны эти метры, размеры. «Бранил Гомера, Феокрита» — все правильно, древние греки не были силлабистами. Байрона, можно предположить, Евгений читал во французских прозаических переводах, так что англоязычные ямбы не могли его раздражать. Влюбившись в княгиню Татьяну, Онегин «...чуть не сделался поэтом», «Стихов российских механизма / Едва в то время не постиг». Но именно «чуть» и «едва», а на самом деле так и не «постиг» ямбов и хореев. Зато:

Как походил он на поэта,
Когда в углу сидел один,
И перед ним пылал камин,
И он мурлыкал: *Benedetta*
Иль *Idol mio* и ронял
В огонь то туфлю, то журнал.

Т. е., можно полагать, Онегин-«поэт» переходит на итальянский язык, чья просодия — силлабическая, не знающая ямбов и хореев, и бормочет итальянские силлабические 4-сложники: *Benedetta...*; *Idol mio...*

Сам Пушкин прекрасно разбирался в стопах и мерил ими свой стих, а все-таки писал о работе поэта в поэме «Домик в Коломне»:

Тут каждый слог заметен и в чести,
Тут каждый стих глядит себе героём,

соотнося в данном случае стих не со стопой, а со слогом: силлабический подход (см. также: «Ну, женские и мужские слоги!»). Пушкин здесь многое как бы заимствует из стиховой техники силлабистов. Использует почти разноударную рифму («слушай» — «заезжай...»), охотно применявшуюся в XVII в. (типа «тебе» — «в небе»); пренебрежительно высказывается о ямбе («надоел»); строит стих таким образом, что тот «то в яме, то на коч-

ке», как то бывает «в тряском беге», когда телега мчится по мерзлой пашне. Тут сказывается не вполне, наверное, осознанная, но разбередившая душу ностальгия по нескладному, словно бы аритмическому силлабическому стиху, противостоящему гладкой силлаботонике с ее плавным скольжением: пусть будет стих экспериментально заковыристым, под стать тряскому бегу с труднопреодолимыми препятствиями. Подобное или сходное отношение к стиху проявлялось подчас и у других поэтов XIX в.: Шевырева, Бенедиктова, Аполлона Григорьева, Некрасова, Случевского. От силлаботоники не то что бы отказывались в пользу силлабики (было и такое, но мало, робко и не о том речь), но варьировали силлаботонические размеры так, чтобы создать впечатление ритмико-интонационных сдвигов и сбоев, каковые столь характерны для силлабического стиха.

Существует давняя традиция — отличать качественное (качественное) стихосложение от количественного (количественного). При этом под качеством слогов разумеется их ударность — безударность, а под количеством — долгота и краткость, в связи с чем количественным признано античное стихосложение, поскольку в древнегреческой и в латинской просодии данный момент является определяющим, а качественность соотносится с последующими европейскими версификационными системами, основанными на принципе словесного ударения [7, с. 132]. Для нас удобнее иное понимание количества и качества применительно к проблеме слога в стихе. Любая характеристика, отвечающая на вопрос «каковы они?» (т. е. слоги), — это характеристика качества. Сильный или слабый слог? ударный или безударный? долгий или краткий? — во всех этих случаях речь идет о качестве слога. Другое дело — вопрос «сколько их?» (слогов), требующий назвать ту или иную цифру: это уже разговор о количестве. «Каковы?» — значит, скорее всего, имеются в виду те или другие разновидности стопного стиха; «сколько?» — значит, стих рассматривается как силлабический, даже если при всем том он стопный. Такое разграничение представляется наиболее конструктивным в плане предлагаемых суждений о силлабическом принципе в версификации.

Силлабисты, оставаясь силлабистами, могут интересоваться не только количеством, но и качеством слогов; могут находить между ними те или иные различия — хотя бы потому, что так распорядился авторитетный Мелетий Смотрицкий в своей Грамматике [8], но и не только поэтому: мы ведь имеем возможность и основания предположить, что ударность — безударность (а при любом понимании вопроса это — качественные характеристики) является немаловажным фактором ритма не только в стопном, но и в силлабическом стихе. Но сейчас важнее отметить другое: не безучастность силлабистов к качеству слогов, а безучастность «несиллабистов» к количеству слогов в стихе. Приведенные выше примеры свидетельствуют об этом постольку, поскольку упоминавшиеся поэты сознательно соотносили стих со слогом, так или иначе декларировали эту соотнесенность (Ржевский, Пушкин). Однако не менее интересны бессознательные реакции поэтов на слог: стихотворец, с одной стороны, вроде бы и забыл, что существуют слоги и что их количество нужно обязательно учитывать в процессе построения стиха, но, с другой стороны, повинаясь какому-то безотчетному чувству, соблюдает правильность слогаисчисления, хотя иной раз при этом может нарушить метр (стихотворный размер), исказить заданный характер стопности.

Последнее, как нам представляется, имеет свои психолингвистические корни, предпосылки. Практика преподавания русской словесности убеждает в том, что учащиеся намного легче овладевают понятием слога, нежели усваивают категорию ударности — безударности и тем более силлаботонические стихотворные размеры. Те, кто не могут «ямба от хороя, как мы ни бились, отличить», едва ли ошибутся в подсчете количества слогов, из которых состоит слово, строка или фраза. Вот почему представление человека о слоге оседает так глубоко в сознании, не встречая ни малейшего сопротивления и не требуя никаких специальных усилий для того, чтобы там удержаться: сколько гласных в слове, столько и слогов, — что может быть доступнее этого, тем более, если русской просодии в целом

чужды дифтонги, элизии и вообще всякие особые случаи в «поведении» гласных, которые усложняли бы подсчет их количества. Неслучайно малограмотные, не овладевшие навыками беглого чтения, читают «по складам», т. е. подчеркнуто-отдельно выговаривая каждый слог. Это, так сказать, силлабическое чтение, и оно, по-видимому, наиболее органично соответствует недостаточно искусственному восприятию письменного текста (в том числе и стихотворного).

В свете всего сказанного немалый интерес может представить опыт поэтов, работавших в эпоху силлаботоники, вовсе не стремившихся противопоставить ей свою индивидуальную версификационную систему и при этом слабо осведомленных в правилах стихотворной техники. Подобно тому, как молюеровский мещанин во дворянстве всю жизнь, оказываясь, говорил прозою и даже не подозревал об этом, — такие поэты могут писать стихи, допустим, ямбом и не знать, что это ямб. Но трудно допустить, что они не имеют представления о слоге (в самом деле, могут не соблюсти, нарушить заданный стихотворный размер, но при этом сохраняют правильное количество слогов), а если это так, то их можно считать своего рода стихийными силлабистами. Под этим углом зрения рассмотрим некоторые стиховые формы, использовавшиеся в творческой практике А. В. Кольцова, в данном отношении недостаточно исследованного.

Наиболее изучен кольцовский 5-сложник, давший повод для разных стиховедческих интерпретаций. В нем видели и стилизацию народного стиха, и силлаботоническую форму, причем в последнем случае оставалось неясным: то ли это двустопный хорей с дактилической концовкой, то ли одностопный анапест с той же самой дактилической концовкой. Итоги этой разноречивой диагностики подведены в обстоятельной статье А. Н. Беззубова [9]. Заметим, что в калейдоскопе противоречащих одно другому мнений недостает одного: а что если природа кольцовского 5-сложника — силлабическая? Но не будем настаивать на этом предположении (обосновать его едва ли удалось бы). Более явно силлабическая природа дает о себе знать в другой излюбленной форме кольцовского стиха — в 6-сложнике, на который до сих пор не обращалось должного внимания. Как силлабические мы определили бы стихи Кольцова типа следующих:

Властелин-художник
Создает картину —
Великую драму,
Историю царства.
(«Поэт»)

Здесь совершенно беспредметным был бы спор о том, хорей или амфибрахий дает ритмическую основу данным стихам: в равной мере и то и другое, а значит — в абсолютном смысле ни то, ни другое, зато силлабический принцип выдержан строго, соблюден изосиллабизм.

Белинский свидетельствовал, что «Кольцов не имел ясного понятия о версификации и руководствовался только своим слухом» [10], и в связи с этим даже «правильные размеры» его стихов кажутся необычными и глубоко оригинальными. Это верно лишь отчасти. Кольцов, случалось, отступал от «правильных размеров», но при этом в слогаисчислении был, как правило, корректен. Одно из его стихотворений написано мужскими 6-сложниками («Перед образом Спасителя»), которые — все кроме одной-единственной строки — образуют метр двустопного анапеста. Строка-исключение (третья в первой строфе) представляет собой фигуру двустопного амфибрахия с женской клаузулой и, конечно, вносит резкий диссонанс в ритмический строй стихотворения, не оправдываемый никаким «слухом»:

Пред Тобою, мой Бог,
Я свечу погасил,
Премудрую книгу —
Пред тобою закрыл.

У Кольцова была легкая возможность сохранить требуемую форму анапеста в третьем стихе, написав вместо «премудрую книгу» чуть-чуть иначе: «И премудрую книгу» или же «Я премудрую книгу...». Восторжествовал бы принцип тонический, стопный, но пострадал бы силлабический: 6-сложник превратился бы в 7-сложник, одинокий на фоне остальных стихов — 6-сложников. И поэт предпочел исказить «правильный размер», не посчитался с тоникой, но ни на йоту не отступил от изосиллабизма.

Все это так, но ведь был же у Кольцова — поэта-песенника! — тот самый, одобренный Белинским, слух, сверяясь с которым, прямо-таки невозможно ставить рядом стихи «Я свечу погасил» и «Премудрую книгу». Наверное, Кольцов «пропевал» хотя бы про себя, мысленно, каждую строку слагаемого им стихотворения — и как же не споткнулся о столь кричащий ритмический перебой? Но здесь-то и кроется разгадка. Пение и речитатив обладают особыми свойствами в том смысле, что порою допускают переакцентуацию некоторых слов: не настолько, разумеется, чтобы превратить «премудрую книгу» в «премудрую книгу» (в соответствии со схемой анапеста), но, по-видимому, в достаточной мере для того, чтобы интонировать этот стих приемлемому для данного ритмического контекста способом — нейтрализуя ударность ударных слогов и прибавляя энергии безударным.

Сходный пример — при всей несоизмеримости сопоставляемых явлений, масштабность которых слишком разная, обнаруживается у Л. О. Утесова, чье стихотворчество тоже неотделимо от песенности. Оно известно нам благодаря публикации З. Паперного, который писал об Утесове (ср. с вышеприведенной характеристикой, данной Белинским Кольцову): «Он был высоко профессиональным певцом и сугубо самодельным поэтом. В его стихах чувствуются и наивность и просто технические промахи» [11]. Заметим, что один из таких промахов очень похож на кольцовскую «премудрую книгу»:

Войдите в мое положение —
Мне нужен смех, друзья, движенье...
А главное — нужны мне уши,
Меня желающие слушать.

Судя по всему, здесь четырехстопный ямб, но первый стих, вопреки этой очевидности, представляет собой трехстопный амфибрахий. Пуштыковская инверсия вернула бы ему ямбическую форму: «В мое войдите положение», правда, ценою некоторой неестественности — натянутости получающейся конструкции, подменяющей собою привычный фразеологизм. К подобным искусственным построениям Утесов, понятно, не был расположен. Допустил погрешность, исказив стихотворный размер, но остался верен силлабическому принципу (что и интересно, чего ради мы и не прошли мимо незначительного в других отношениях факта): все четыре стиха — 9-сложники, изосиллабизм соблюден безукоризненно, чувство слога оказалось сильнее чего-либо.

В ситуациях речитатива качественные признаки слогов причудливо видоизменяются, в то время как их количественность подчеркивается и берет на себя особо важную роль. Не так существенно, какой слог при этом ударный и какой безударный, зато вопрос «сколько их?» обретает определяющее значение. Переакцентуация силлабов оказывается возможной, допустимой, даже если она резко нарушает привычные речевые нормы, но в чисто силлабическом (слоγοисчислительном) отношении текст не должен модифицироваться, иначе возникнут неоправданные ритмические сбои и перебои. Итак, переакцентуация может быть прямо-таки парадоксальной.

У В. Г. Короленко описан любопытный случай из учебно-пансионского быта в Житомире. Учитель Пашковский, по происхождению поляк, хватает за шиворот нерадивого ученика, поднимает на воздух перед раскрытым окном, выходящим к крутому берегу реки, раскачивает свою

жертву и в такт этим движениям скандирует:

Вот бро-шу
Гуль-та-я
В Те-те-рѣв [12].

Эти слова графически разделены по слогам и записаны в виде трехстишия. Первые две строки производят впечатление амфибрахийев, но третья, вопреки норме произношения гидронима Тетерев (будь оно польским, или украинским, или русским — все равно), представлена как анапест — соответствующим образом Короленко поставил знак ударения над третьим слогом. Такое мыслимо только в ситуации речитатива. Это бросает обратный свет на предшествующие строки и корректирует их прочтение; скорее всего, они тоже анапесты, и произносить их нужно так: «Вот бро-ш^{у́}» и «Гуль-та-я́» — вот какие сдвиги в качестве слогов! Что же касается слогаисчисления, силлабического аспекта, то тут нет никаких нарушений: во всех случаях перед нами безукоризненные 3-сложники.

Рассматривая поэзию как слогаписание и стих как слогаисчисление, приходится сверять такой подход с общераспространенным представлением, согласно которому главным материалом и первоэлементом поэтической, стиховой формы являются звуки. Слог или звук? — может казаться, что такая постановка вопроса предполагает необходимость выбора между силлабическим принципом и фонетическим, спора о том, который из них конструктивен в версификации. На самом деле этой необходимости нет, одно другому не противостоит (если не противопоставлять искусственно), однако уточнить некоторые моменты, связанные с взаимосоотнесенностью слогаписания и «звукописи», нужно.

Для многих поэтов прошлого своеобразной профессиональной атмосферой была, как они полагали, стихия звуков. Сюда неизбежно подключались музыкальные ассоциации, певческие: поэт «запел», он «поет», окружающие внемлют «звукам». Фолика поэтической речи (и в частности ее музыкальность, мелодика) — достойный предмет стиховедческого внимания, долженствующего быть чутким к вокализму и консонантизму стиха. Вокализм ставим на первое место, согласуясь именно с силлабическим принципом, поскольку сам по себе гласный звук — это уже слог, а вокализ (вокал, вокализация) — уже пение, причем пение чистых гласных и соответственно чистых слогов, консонантные же примеси вторичны и в идеале как бы необязательны.

Гласные в русском стихе ревниво оберегают свою монополию на слогаобразование. Слоговые сонорные на это не претендуют, хотя, казалось, могли бы. Поэтому рифмы типа *Петр — ветр* или *тигр — игр* выступают как мужские (а не женские), а данные рифмующиеся слова мыслятся односложными (а не двухсложными). По той же причине некрасовский стих «Сентябрь шумел, земля моя родная...» читается правильным ямбом, в котором «сентябрь» — первая двусложная стопа (а не трехсложное слово со слоговым Р в конце). Никакое скопление согласных само по себе не подарило бы русскому стиху, облеченному в традиционную форму, лишнего слога: «Эрнст вздрогнул» (восемь подряд согласных на стыке слов!) — такой же 3-сложник, как, скажем, и «Лев ахнул». Бывали, впрочем, исключения, когда слогаобразующие потенции согласных реализовались в стихе (вплоть до того, что «театр» превращался в «театор»), но они и осознаются как раритеты, в целом не характерные для нашей просодии.

С другой стороны, почти столь же исключительны в русском стихе случаи выпадения гласных и, следовательно, целых слогов: редкие явления синерезы, синкопы, синицезы [7, с. 266—267]. В этом отношении показательно, что зияния у нас так и остаются зияниями, отнюдь не воспринимаемыми как нечто ущербное, и не ведут к элизиям, к выталкиванию одной из двух стыкующихся гласных. Силлабизированный гласными стих может включать в себя минимальное количество соглас-

ных. Например, женский четырехстопный ямб — 9-сложник и, стало быть, «девятигласник» — сумел бы обойтись поддержкой всего трех согласных: «Ее сияющие очи»; и даже, менее того, двух: «И у Ионы, и у Ады» (еще на один меньше был бы в варианте «...и у Ии»). Почти вокализ — если это петь! Мы далеки от намерения утверждать, что подобный аскетический отказ от консонантных богатств сколько-нибудь свойствен русскому стиху. Без них он гол и скуден, как всякая обнаженная конструкция или скелет. Чуть ли не каждый слог равен всего лишь гласному звуку — и только, но стих тем не менее не рассыпается (без гласных — рассыпался бы, вернее просто не состоялся бы). Вот почему при силлабическом подходе к стиху пальму первенства следует отдать вокализму, а вопросы консонантизма трактовать как сопутствующие и вторичные, подчиняя их главному — проблеме слогообразующих звуков, т. е. гласных. Так требует логика постижения слога как звучащей единицы стиха, слога как «звука», что и является в данном случае нашей задачей.

Звуко- или буквоисчисление (последнее — когда речь заходит о графическом изображении фоники) в стихе с точки зрения силлабического принципа имеет смысл постольку, поскольку оно связано со слогоисчислением: на уровне вокализма — количество гласных равно количеству слогов, на уровне консонантизма — количество согласных пропорционально или диспропорционально количеству слогообразующих гласных как определяющих компонентов стиховой конструкции. Казалось бы, нецелесообразно подсчитывать, сколько звуков или букв в стихотворной строке (другое дело — сколько слогов, потому что без этого неясно, какой перед нами стихотворный размер) и в каких пропорциях располагаются гласные и согласные. Однако бывали случаи, когда это приходилось делать, причем это могло интересовать не только досужного стиховеда, целиком ориентированного на подсчеты, формулы и схемы, но и самого поэта, мастера и практика стиха. И он занимался этим, вольно или невольно сообразуясь с силлабическим принципом — т. е. понимая вопросы вокализма и консонантизма стиха в указанном смысле.

В главе «Тверь» радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву» цитируются отрывки из оды «Вольность», среди них стихи:

Исполни сердце твоим жаром,
В нем сильных мышц твоих ударом
Во свет рабства тьму претвори,
Да Брут и Телль еще проснутся... — и пр.

Автор, комментируя приведенные строки, замечает, что стих «Во свет рабства тьму претвори» подвергался критике: «Он очень туг и труден на изречение ради частого повторения буквы Т и ради соития частого согласных букв, „бства тьму претв“, — на десять согласных три гласных, а на российском языке толико же можно писать сладостно, как и на италианском... Согласен... хотя иные почитали стих сей удачным, находя в негладкости стиха изобразительное выражение трудности самого действия» [13].

Консонантная избыточность указанного звукосочетания осознается как избыточность исключительно потому, что установлена получившаяся пропорция согласных и гласных: десять к трем. С чисто стиховедческой точки зрения сформулированная претензия неосновательна. Обсуждаемый стих «короче» многих других в «Вольности», конечно же, за счет того, что в более «длинных» больше согласных (ибо количество гласных везде строго лимитировано: 9 в женских стихах и 8 в мужских). Сверх того, в предшествующем стихе можно было бы выделить труднопроизносимое звукосочетание с такой же вокально-консонантной пропорцией: «В нем сильных мышц твоих ударом». Таковы же и некоторые другие цитируемые в главе «Тверь» стихи: «Другое волю стерть стремится» (здесь еще чаще повторяется буква Т) и «Чугунный скиптр обвил цветами».

А есть и стих еще более консонантно-сгущенный, включающий звуко-сочетание с пропорцией не десяти, а даже одиннадцати согласных к трем гласным: «Льет радость, трепет вокруг себя». По-видимому, Радищев имел экстрастиховедческие основания отметить консонантную чрезмерность именно той строки, где речь идет о тьме рабства и звучит призыв к свету, на что он отчасти и намекает, комментируя первую строфу «Вольности».

Далее у Радищева: «...А на российском языке толико же можно писать сладостно, как и на италианском...». Широко распространенное мнение о какой-то особой сладостной нежности итальянского языка и стиха насквозь предрассудочно. Что нежнее и «вокальнее» (свободнее от консонантных перегрузок): русское слово «наша» или — соответственно — итальянское *nostra*? Вокализм итальянского стиха обеднен элизиями, врожденным страхом перед зияниями, силлабический принцип осуществляется в романских просодиях вообще и итальянской в частности несколько зыбковато и не очень последовательно по сравнению со славянскими и в том числе с русской. (Аргументация этого тезиса разрослась бы в отдельную самостоятельную работу.)

Мы коснулись, хотя бы вскользь, вопросов, связанных с графической композицией стихотворной строки, вопросов достаточно многоаспектных и получивших частичное освещение в науке [14]. В самом деле, когда речь заходит о том, что такая-то строчка «длиннее», а другая «короче» (см. выше), то тут имеется в виду не столько слоговоеписание или, допустим, звукопись, сколько «буквопись», графика, постигаемая визуально, а не на слух. Силлабический принцип здесь как будто ни при чем, но именно «как будто!» Количественный подход к слогам в стихе неизвестно как себя оправдал бы (или вовсе не оправдал бы?) в глазах читающего не вслух напечатанный текст, если бы слоги и состоящие из них строки были несоизмеримо неравны по своим видимым протяженностям. Два четырехстопноямбических стиха, предполагается, должны лечь один на другой более или менее аккуратно, «в столбик», иначе получится нечто труднораспознаваемое и затемняющее силлабический принцип, который хотя и соблюден, но графически неубедителен. К примеру:

И у Иовы и у Ии

Хлебъ нашъ насущный даждь намъ днесь...

Такая графика приличествовала бы разностопным стихам, тем не менее, оба данных стиха написаны 4-стопным ямбом. Количество слогов у них привычно соизмеримое, а графическая протяженность разительно неодинаковая.

Поэты, большие и малые, как представляется, не были озабочены задачей, которую перед собой и не ставили, — стараться, чтобы в равно-сложных стихах совпадало количество букв (или — если не букв — то звуков). Такие совпадения имели место, но они были скорее всего случайными, непреднамеренными. Впрочем, как знать? Бывало, что они аккомпанировали поэтическому возгласу исключительной силы, будучи к тому же поддержаны лексико-синтаксическим параллелизмом, и едва ли такое «получалось нечаянно». Таковы, например, строки из стихотворения Я. П. Полонского на смерть Надсона. Покойный поэт, пишет Полонский, любил отчизну — и был

Ея метелями обвеян,

Ея пигмеями осмеян [15].

Здесь в идеально ровный и стройный «столбик» укладываются не только целые строки, но и отдельные слова: «Ея» под «Ея» (лексическая анафора), «пигмеями» под «метелями» (внутренняя рифма), «осмеян» под «обвеян» (рифма), и все двустипшие скреплено изысканнейшей аллитерацией (в духе Вознесенского: легко можно представить себе его голос, читающий эти стихи «с выражением», как свои собственные). В подобных случаях

начинаешь сомневаться в непреднамеренности таких совпадений и соответствий, полагая, что совершенство графической композиции может быть плодом сознательных творческих усилий поэта.

Рассмотрение силлабического принципа в версификации обратило нас поначалу к проблеме количества слогов в стихе, внутренние же свойства слога, включая вопреки традиции долготу — краткость, предлагалось трактовать как качественные. В русском стихе (и языке) нет долгих и кратких слогов, а если бы и были, то целесообразнее было бы долготу — краткость понимать как внутреннее количество гласного звука, а не слога. Что же касается внутреннего количества слога, то под ним скорее всего следует разуметь число составляющих его звуков в живой речи или букв (литер, графем) в письменном тексте. От этого числа зависит и им определяется большая или меньшая мера консонантной насыщенности слога, а не долготы — краткости (понятия, соотносимые исключительно с вокализмом стиха и вовсе неуместные в разговоре о русском стихе). Еще Мелетий Смотрицкий учил: «Стих состоит ногами¹, нога — слогами, слози — стихиями или письмены: заеже познанием письмен, слог и ног во стихотворения познание приидем» [8]. И хотя о «ногах» и о количестве слогов Смотрицкий имел весьма странные понятия, его тезис «слози состоят письмены» неопровержим.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гаспаров М. Л., Гелюх Д. И. Русский стих. — В кн.: *Słowiańska metryka porównawsza. I. Słownik rytmiczny i sposoby jego wykorzystania*. Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk, 1978, s. 131.
2. Кантемир Антиох. Собрание стихотворений. Л., 1956, с. 417.
3. Сравнительное изучение литератур. — Сб. статей к 80-летию акад. М. П. Алексеева. Л., 1976, с. 317—318.
4. Культурное наследие Древней Руси. Истоки — Становление — Традиции. М., 1976, с. 195—199.
5. Поэты XVIII века. Л., 1958, с. 329.
6. Томашевский Б. В. Стих и язык. Филологические очерки. М.—Л., 1959, с. 209.
7. Квятковский А. П. Поэтический словарь. М., 1966.
8. Смотрицкий М. Грамматики Славенския правилное Синтагма. Киев, 1979 (фототипическое издание).
9. Беззубов А. Н. Пятисложник. — В кн.: Исследования по теории стиха. Л., 1978, с. 106—110.
10. Стихотворения Кольцова. С портретом автора, его факсимиле и статьей о его жизни и сочинениях, писанною В. Белинским. М., 1857, с. 65.
11. Паперный З. «Мне нужен смех, друзья, движение...». — Юность, 1983, № 2, с. 110—111.
12. Короленко В. Г. Собрание сочинений. Т. 6. М., 1953, с. 79.
13. Радищев А. Избранное. М., 1959, с. 194.
14. Жовтис А. Стихи нужны... Алма-Ата, 1968, с. 128—163.
15. Стихотворения С. Я. Надсона с портретом, факсимиле и биографическим очерком. СПб., 1912.

¹ Т. е. стопами.



ТВОРЧЕСТВО Л. ШЕНВАЛЬДА В 40-е ГОДЫ

До недавних пор творчество Люциана Шенвальда (1909—1944), одного из интереснейших поэтов Польши межвоенного двадцатилетия и периода второй мировой войны, практически не имело целостной литературно-критической интерпретации на его родине¹. Оценки отдельных его произведений появлялись лишь в мемуарном наследии [1—2], несравненно более богатом, но и весьма неоднородном по составу, если учесть, что воспоминания о Шенвальде писались как собратьями по перу, так и людьми, далекими от литературы; значимые факты биографии поэта перемежаются в них анекдотическими подробностями — зачастую, можно полагать, весьма произвольными. Лишь с середины 70-х годов в ПНР начали выходить работы, непосредственно посвященные идейно-художественным особенностям поэзии Шенвальда [3—4].

Иначе выглядела ситуация в советском литературоведении, где первая обширная статья, анализировавшая творчество Шенвальда, появилась еще в 1959 г. [5]. Два десятилетия спустя ее основные положения были развиты и дополнены в фундаментальной монографии того же автора [6]. Однако за пределами основной задачи этих работ оставался значительный этап жизни и творчества поэта — 40-е годы, которые он провел в Советском Союзе, работая в тылу и сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны — период плодотворный и интересный во всех отношениях. Настоящая статья представляет собой попытку хотя бы отчасти восполнить этот пробел.

Напомним вкратце основные моменты биографии Шенвальда. В 20-е годы, в ранней юности — член литературной группы «Квадрига», неизменный участник эскапад варшавской богемы и один из героев скандального романа-хроники З. Униловского «Общая комната» (1932); глашатай идей «катастрофизма» в литературе и ярый сторонник изысканной формы, ориентированной на классические образцы европейской поэзии — с конца 20-х годов Шенвальд все более отходит от прежних интересов. Это были годы резкого размежевания в литературной среде: одни писатели солидаризировались с политикой правительства, все более смещавшейся вправо после путча Пилсудского 1926 г., другие более или менее решительно примкнули к левице, сплотившей свои ряды в ответ на растущую фашизацию общественной жизни. Среди последних — в самом радикальном, коммунистическом течении, оказался Л. Шенвальд. Активный деятель Коммунистического союза молодежи Польши и КПП, он в эти годы занимается конспиративной политической работой, высказывая взгляды, близкие к Пролеткульту и сознательно «наступая на горло своей песне». Лишь в середине 30-х годов Шенвальд вновь выступает как уже сложив-

¹ Не считая ряда статей и заметок информационно-биографического или даже чисто «юбилейного» характера, публиковавшихся как в Польше, так и в СССР с середины 40-х годов.

шийся революционный пролетарский поэт, сохранивший свою изначальную приверженность школе «старых мастеров».

О творчестве Шенвальда в годы, непосредственно предшествовавшие второй мировой войне, известно очень немногое, так как самые значительные его произведения 1937—1939 гг., в том числе предназначенные для радиопостановок поэтические драмы «Капитолийские гуси», «Птицы и гады», а также «Христофор Колумб в Саргассовом море», производивший неизгладимое впечатление на знакомых с ним людей, утрачены в годы оккупации [4, с. 31].

Об общественной позиции поэта позволяют судить такие факты: он был участником обращения «Единого фронта писателей» в 1935 г. и антифашистского конгресса работников культуры Польши, Западной Украины и Западной Белоруссии 1936 г. Жизненный путь Шенвальда закономерно привел его — после неудавшейся попытки примкнуть к сражающимся частям польской армии — на земли, воссоединенные с Советским Союзом. В ноябре 1939 г. поэт появляется в Ковеле, откуда вскоре переезжает с семьей во Львов, крупнейший культурный и литературный центр на Западной Украине. Там он работал в детском отделе польской редакции радио.

О деятельности Шенвальда в львовском Клубе писателей (организован в ноябре 1939 г.; с сентября 1940 г. — львовское отделение ССП УССР) известно немного. В это время Шенвальд переводит Пушкина, Маяковского, украинскую поэзию; несколько его стихотворений опубликовала польская газета Львова «Червоний штандар» (1939—1941); среди них, по всей видимости², первый вариант стихотворения «Красной Армии» [2, с. 19]. Известно выступление Шенвальда на конференции львовских писателей (12—15 апреля 1941 г.) о том, что многие польские литераторы в СССР все еще занимают позиции наблюдателей новой жизни, медля перейти к ее углубленному творческому изучению [7], и его участие в коллективной поэме «Счастливый год», посвященной годовщине воссоединения Западной Украины с СССР³. Крупнейшие произведения Шенвальда львовского периода, драма о Ярославе Домбровском и поэма о Копернике, также известны ныне лишь по упоминаниям [4, с. 33].

Летом 1941 г. Шенвальд добровольно вступает в ряды Красной Армии. Его военный путь начался в прожекторных частях ПВО на Украине. Вспомнил Шенвальда-красноармейца, В. Василевская писала: «Он носил... мундир с гордостью, а при этом так обыденно и просто, без позы и изумления, как будто бы он, активист Коммунистического союза молодежи и узник варшавской охранки, давно был готов к тому, чтобы стать бойцом Советской Армии. Этот мундир был по-настоящему им заслужен» [9]. Не исключено, что в словах о полной психологической готовности поэта к новой жизненной роли есть доля преувеличения; во всяком случае, его тогдашнее стихотворение «На посту» о близоруком часовом, проникнуто несколько наивной гордостью интеллектуала, впервые в жизни вставшего на защиту своих убеждений с оружием в руках, и вместе с тем тонкой иронией (грозный окрик часового пугает лишь лесных зверей, за шаги врага он принимает мышиную возню). Заключительная строфа стихотворения показывает глубину и возвышенность чувства автора, отождествляющего себя с лирическим героем: «Близорукий, в заботах о сне своих братьев // Ты бы лес и весь мир мог поднять по тревоге!».

Во время деятельности Шенвальда в львовском Клубе писателей его не раз упрекали в излишнем эстетизме и «литературщине» [2, с. 257]. Этот упрек не совсем справедлив: по крайней мере, лучшее из известных стихотворений Шенвальда 1940 г. («Город, что был сердце и легких копильней...»), отличается безукоризненной ясностью формы, простотой

² Комплект газеты не сохранился полностью; отдельные ее экземпляры находятся в библиотеках Львова.

³ Поэма создавалась несколькими десятками авторов на трех языках. Как и следовало ожидать от такого конгломерата, она не производит целостного впечатления, а воспринимается как тематический сборник стихов и песен. Отрывки поэмы на польском языке были опубликованы в [8].

содержания и непосредственностью. Но весьма отчетливый след литературных реминисценций — дань незаурядной эрудиции поэта — заметен в стихотворении «Маскировка прожекторов», написанном в июле 1941 г. Жестокая действительность войны предстает здесь еще в формах прежней поэзии, чисто литературных переживаний. Пожалуй, поэтому для него, как и для его героев, — людей и машин, — еще «явь подернута сном».

Также весьма неоднородный поэтический материал используется в следующем стихотворении этого периода «Песне польских партизан», которое само по себе примечательно как одна из первых попыток поэзии польской военной эмиграции в СССР обратиться к отечественным реалиям. Просторечные, а иногда и прямо жаргонные речевые обороты, выражающие, по мысли автора, «мужичью волю», соседствуют в нем в самых неожиданных сочетаниях с архикнижными.

Следующий этап жизни Шенвальда, с осени 1941 до весны 1943 г., малоизучен. Достоверно известно только то, что он в эти годы жил в Западной Сибири⁴, но немногочисленные свидетельства настолько противоречивы [2, с. 240—241; 4, с. 34], что невозможно точно установить, чем он там занимался, писал ли что-либо в этот период.

Удивительна метаморфоза, происшедшая за эти годы в личности Шенвальда. Тридцатичетырехлетний интеллеktуал и эстет, в своей прежней жизни — «штатский до мозга костей», с первых месяцев службы в I дивизии им. Т. Костюшко проявил себя блестящим боевым офицером, не только отважным, но и искусным во всех тонкостях военного дела. Все помнящие Шенвальда — поручика, а затем капитана Войска Польского настолько единодушно подчеркивают эти его качества, что это никак нельзя объяснить лишь пиететом к памяти погибшего. От прежних богемных привычек у Шенвальда сохранилось разве что несколько беззаботное, вопреки уставу, отношение к собственной внешности [2, с. 371—372].

1943 год оказался решающим в военном творчестве Шенвальда: в его поэзии зазвучали «чистые ноты благородного металла» [11], свободные от избыточных вкраплений иной традиции, чем та, что создавалась в горниле войны, по горячим следам впечатлений, представляя безошибочную интерпретацию жизненного и поэтического опыта. Именно тогда ему наиболее полно удается воплотить свое творческое кредо — «наполнить старые мехи новым вином».

Первое стихотворение, написанное в тот необыкновенно плодотворный год, указывает на эти попытки уже своим названием: «Октавы о пятой колонне». Здесь органично сочетается приверженность высоким образцам с публицистичной актуальностью. «Пятая колонна» не вполне корректная формально, но справедливая по существу метонимия, которая широко применялась в публицистике прогрессивной польской эмиграции в СССР для обозначения лондонского эмигрантского правительства, безрассудно предававшего жизненные интересы народа, на единственно полномочное представительство которого оно претендовало:

... Кто право дал о подвиге кричать
Тому, на ком предательства печать?
Кричать — истошным воплем, призывая
На суд страну, что принимает бой,
Ту, чья судьба связалась боевая
С отчизной нашей, кровью и судьбой,
Ту, что свинец и пламя исторгая,
Стоит, народы защитив собой,
Обрушивая залпы, от которых
Дрожит ее и наш заклятый враг [10, с. 114].

(Перевод В. Луговского)

⁴ Автор комментариев к русскому сборнику стихов Шенвальда В. Э. Арцимович ошибочно указывает место впадения реки Каменки в Обь (!), упомянутое в стихотворении «Октавы о пятой колонне»; оно находится под Новосибирском, а не «в 140 километрах к юго-востоку от Свердловска» [10, с. 162].

Автор, предельно заострив публицистическое содержание «Октав», не превратил свои строфы в цепочку рифмованных инвектив, как нередко случается в политической поэзии. Композиция и поэтический рисунок живо напоминают вступление к поэме «Сцена у ручья»: и в малой форме воплощается то же единство образов человеческой борьбы, гибели — и пейзаж, служащий не равнодушным этюдным обрамлением, но живым, полноценно действующим элементом образной ткани стихов:

...Смотрите: от полей, лесов и вод
Дым — словно траур. Руки патриота
Развинчивают рельсы. И с тоской
Вдали кричит кукушка. За рекой
Ребенок плачет. Всюду зелень чахнет.
Смывает едкий дождь смолу с оград,
На ветках бьется лист в полночном страхе,
Репьи штыками под луной блестят
И гаснут; желудями лес запахнет,
И вдруг — тяжелый, резкий трупный смрад!
Сгнивает сочный плод, и горьки воды...
О, то сама восставшая природа
Вас обвиняет!..⁵

Тема предательства звучит и в написанном октавой стихотворении «К полякам за границей». Продолжая размышления о судьбах Польши во второй мировой войне, поэт противопоставляет два лагеря, борцов и узурпаторов, — и обращается к разуму и доброй воле всех польских эмигрантов на Западе, не утративших связи со своим народом. Вдохновенный поэтический призыв к объединению трех сил прозвучал с публицистической трибуны изданий польской левицы в СССР — «Вольной Польски» и «Новых виднокренгов»:

Мощь, что врага раздавит, есть на свете:
Единство — имя этой правды старой.
Братья, разбросанные по планете,
Вы, что живыми вышли из пожара!
Вас я надеюсь в новой Польше встретить,
Согрем следы кровавого кошмара.
Для вас, для нас, и тех, кто дома бьется —
Одна заря в конце пути займется.

Цикл политических стихотворений 1943 г. завершается «Письмом к Юлиану Тувиму в Америке», где поэт, выразивший горечь и гнев в предыдущих стихах, обращается к оптимистическим картинам послевоенной, обновленной Польши, родины трудящихся. Это «открытое письмо» заканчивается ритуальной формулой рыцарской присяги:

Поэт! В канун событий, что изменят мир,
Плывя проливом, за которым плещет
Счастливый океан — когда осталось обогнуть
Лишь пару рифов; не отмеченных на картах —
Давай обет друг другу принесем,
Что никогда мы стилос не осушим,
От капель той живительной росы,
Которой одарил нас вольный ветер;
Что никогда приманка золотая
Из нас не вырвет слов иных, чем сталь
Суровой правды, выкованной сердцем
На службе у народа; чем слова,
Исполненные мужества и веры...
Так будь нам в помощь, Созидательница-муза!

⁵ Здесь и далее, где нет ссылок, переводы выполнены автором статьи.

Обращаясь к выраженным Тувимом надеждам («Письмо» в значительной части — парафраз фрагмента «Цветов Польши», широко известного тогда под названием «Молитва»), объединяя библейскую фразеологию «Молитвы» с реминисценциями из произведения, дорогого каждому польскому патриоту («Присяга» М. Конопницкой), Шенвальд творит собственную поэтическую космологию, где роль всемогущего демиурга играет человеческий гений и воля к борьбе.

Еще в Сибири, до выезда на фронт Шенвальд отразил новый всплеск энтузиазма стосковавшихся по оружию польских патриотов в стихотворении «Юзеф Надзея пишет из Средней Азии». Судя по письмам сотен поляков в редакцию журнала весной 1943 г., можно с уверенностью сказать, что «Юзеф Надзея» стал самым убедительным литературным воплощением мыслей и чувств их авторов.

«Прощание с Сибирью», написанное в эшелоне, на пути в дивизию, произведение, в котором воспевается единство в антифашистской борьбе братских народов:

Сибирь, прощай! Тебя и твой народ
Ценить я научился. Уезжаю
Я не без сожаленья, и не раз
Я тайно буду по тебе томиться...
...Мы едем, чтобы драться за свободу
Страны не столь большой. И в стан врагов
Внесем мы страх уж именем твоим:
«Сибирь». И в сердце угнетенных братьев
«Мы жар вольем одним назовьём: «Польша»... [10, с. 135—138].

(Перевод В. Парнаха)

И здесь Шенвальд так же умело сочетает живые мотивы современности с приемами, заимствованными из классической поэзии. В «Прощании с Сибирью» сама тема неповторимого своеобразия огромного края, своим размахом превосходящего человеческую фантазию, собирательный образ людей, населивших этот край и творчески преобразующих его облик, неизбежно потребовали обращения к эпическим началам. В поэтическом опыте Шенвальда — переводчика и ценителя литературы эти начала ассоциировались прежде всего с эпосом античности. Парафраз античной метрики, акцентированная музыкальность лишенного рифмы стиха, обилие эпитетов, места прямо воскрешающих словотворческие приемы Гомера, одного из любимейших поэтов Шенвальда, характеризуют это сравнительно небольшое стихотворение.

Своеобразна здесь авторефлексия, «расчет с творческим прошлым», достаточно распространенные в передовой польской поэзии военных лет:

...Тебе, Сибирь
Обязан обновленьем я. Тебя
За радостный мой шаг благодарю я.
Униженный боец, упавший здесь
Под первыми ударами войны,
Я думал, что я ранен в лоб навывлет,
Но оказалось — в сердце. В этот час
Своей водой ты мне глаза промыла,
Своею солью кости пропитала,
Натерла мышцы иглами сосны,
Узлы всех сил мне закрепила, грозно
Сожгла остатки выдуманных чувств
И мне вернула выpravку солдата,
Способного не покоряться смерти... [10, с. 137].

(Перевод В. Парнаха)

Несмотря на все превратности судьбы польских беженцев и эвакуированных в советскую Сибирь, она вызывала подобные чувства не у одного Шенвальда. А тех поляков, кому не пришлось там бывать, стихи Шенвальда могли, возможно, побудить к постепенному пересмотру привычных психологических стереотипов. Таков, во всяком случае, был их замысел.

Служба поэта в I дивизии вызвала к жизни новый, самый обширный цикл его военных стихов. Говоря об этих произведениях, исследователи и авторы воспоминаний нередко ищут параллели между ними и официальной летописью Войска Польского в СССР, которую было поручено вести поэту. Действительно, если на страницах хроники, создававшейся поручиком Шенвальдом, его товарищи видели отблеск поэтического дарования, то на сопутствующих ей стихах лежит печать Истории. Большинство их посвящено конкретным, четко локализованным в пространстве и времени событиям (на которые, как правило, они были немедленным откликом) — производству в офицеры выпускников дивизионной школы комсостава («Молодым офицерам»), эпизодам битвы под Ленино («Баллада о первом батальоне»), гибели одного боевого товарища («Элегия на смерть Мечислава Калиновского»), возвращению из госпиталя в дивизию другого («На возвращение героя»).

Именно в этой части поэтического наследия Шенвальда 40-х годов полностью проявилось своеобразие дарования поэта, сумевшего облечь в стихотворную форму неповторимый сплав безукоризненно точного репортажного документа в возвышенной поэтикой. Т. Буйницкий, скрупулезно вычленивший ряд формальных характеристик этого цикла (упрощение художественной конструкции стихотворения при одновременном сохранении маркировочной «привязки» к традиционным формам элегии, баллады, оды; рост коммуникативности и дискурсивности, фабуляризацию и т. д.), однако, заметил, что Шенвальд полностью разделял особенности тогдашней «солдатской» и «гражданской» поэзии с А. Важином, Е. Путраментом, Л. Пастернаком, отличаясь от них лишь отработанной поэтикой, по-прежнему ориентированной на традиции великих творцов и теснее связанной с канонами [3, с. 204—205]. Неточность этого утверждения легко доказать простым сопоставлением «фабульных» текстов Шенвальда и трех названных поэтов. Свообразие поэзии Шенвальда отчасти объясняется его особым опытом, тем, что ни один из упомянутых поэтов не принял столь непосредственного участия в боевых действиях Войска Польского в СССР⁶.

Именно эти переживания послужили импульсом, придавшим творчеству Шенвальда новый, характерный колорит. Прежде всего, предельно конкретизируются в его стихах картины войны: мрачная и возвышенная явь в них уже не смешивается со сном, а приобретает четкий, однозначный облик, нисколько не теряя при этом поэтической образности:

Подходят к высотке. Но брызнуло вдруг
Из дул, что в три яруса, пламя.
Клубятся разрывы. Терзая их дух,
Трещат пулеметы бичами.
И дым их окутал как саван, прошитый
Огнистой иглою, кровавою нитью.

(Баллада о первом батальоне)

Эффект присутствия неуклонно нарастает по мере развития событий и достигает кульминации, когда Шенвальд переходит от описания стрелковой атаки к показу конкретных действий участников битвы:

Ляхович, майор, поднимает их в бой,
Сверкая в руке пистолетом:

⁶ После битвы под Ленино, за участие в которой Шенвальд был награжден орденом Креста Отважных и Красной Звезды, его фамилия была ошибочно включена в список погибших, так что друзья поэта, несшие службу в других подразделениях, оплакивали его несколько дней, пока ошибка не была исправлена (см. [12]).

«На штурм, братья! Дом, что мне с детства родной —
 Отсюда в семи километрах.
 Там плачет жена, там сынок мой остался...
 И вас ждет отчизна, соддаты-скитальцы!»
 Бойцов он увлек в гуцу вражьих траншей,
 И пламенем тело бросалось
 На проволоку, под огонь батарей,
 На доты, на смерть!... Мне казалось:
 Сам вспыхнул он, страстью и гневом объятый —
 Нет, грудь разорвали осколки гранаты!

Заключительные строки стихотворения связаны с конкретной географической реальностью: в селе Тригубово (близ Ленино) покоятся под яблонями павшие польские солдаты — бессменные часовые на первых метрах пути, ведущего в отчизну.

Авторы работ, анализирующих изобразительные приемы в поэзии Шенвальда, называют в числе протопластов непрерывной традиции, вдохновляющих его в этом цикле — Я. Ясиньского, А. Мицкевича («Редут Ордона»), Ю. Словацкого («Погребение капитана Майзнера»), революционную поэзию конца XVIII — начала XIX вв. [3, с. 205; 4, с. 247—249]. Вероятно, этот перечень можно еще продолжить в глубь веков: во всяком случае, преимущественное влияние стилистики рыцарской эпики заметно в зачинах стихотворений «Молодым офицерам» и «Элегия на смерть Мечислава Калиновского».

Стихотворение «В степи» — одно из немногих, лишенных конкретных указаний на место и участников действия. Тем не менее, обобщенному портрету солдат на отдыхе присуща подлинность, что в сочетании со строгой, выверенной поэтикой позволяет отнести стихотворение к лучшим произведениям военной лирики Шенвальда, наряду с «Прощанием с Сибирью».

Уже над раскаленной печью
 Развешаны портянки косо,
 Попыхивают папиросы,
 Льнут к стенкам тени человечьи —
 Повыше стриженных голов
 Они очерчены деловко.
 Во мгле повисла тяжесть слов,
 Простых и метких как винтовка;
 В землянке, освещенной слабо,
 Как бы вместился целый свет:
 Мечты огромного масштаба —
 Сто тысяч мест, сто тысяч лет [10, с. 142—143].

(Перевод В. Луговского)

Начало этой линии в творчестве поэта относится к 1936 г., когда было написано стихотворение «Пожелания», посвященное бойцам республиканской Испании. Здесь взгляд поэта на сражающуюся страну, хотя и полон горячего, искреннего участия, тем не менее остается взглядом «со стороны», поэт тяготеет к заимствованным и заданным литературным образцам, нагнетая бесконечно эстетизированные образы. Следующим этапом представляется «Маскировка прожекторов», уже окрашенная правдой личной причастности, но наполовину еще фантасмагорическая; завершением же являются реалистическая прямота и ясность стихотворения «В степи», не противоречащие здесь романтической возвышенности стиля, а напротив, создающие его новое, высшее качество. В этом единстве заключается определяющая черта идейно-художественного своеобразия творчества поэта-солдата, как называли Шенвальда соратники.

Первые публикации многих фронтовых стихов Шенвальда принадлежат газетам польской армии в СССР «Жолнеж вольносьци» («Солдат свободы»)

и «Глос жолнежа» («Голос солдата»), впоследствии «Звычайжымы» («Мы победим»). Именно в этих газетах можно найти его публикации, не воспроизводившиеся в других изданиях военных лет — солдатские «гавенды». Понятие гавенды в польской литературе не имеет четкой жанровой определенности; иногда гавенда бывает близка к балладе, а у Шенвальда она получает типично раешную форму — даже печатается в подбор. Искрящиеся грубоватым солдатским юмором рифмованные беседы — наставления боевым товарищам от лица капрала Гожалы и рядового Фелюся Слонко пользовались большой популярностью среди бойцов польской армии.

Я. Тарчалович приводит в монографии о Л. Шенвальде интересные сведения о его единственном, не публиковавшемся прозаическом произведении, машинописный оригинал которого хранится в варшавском Музее А. Мицкевича, — рассказе «Павлик и Маринка». Тематически рассказ близок к стихам Шенвальда 1943—1944 гг.: доминирующей темой остается борьба с фашизмом, присутствует и тема предательства. Во всем военном творчестве Шенвальда вообще нет морально неоднозначных персонажей — это либо изменники, либо герои-патриоты, образец для подражания. По мнению Я. Тарчаловича, первый и единственный прозаический опыт Шенвальда не представляет значительной литературной ценности, но показывает, что безвременно погибший поэт обладал потенциальными возможностями творческого развития и в этой области [4, s. 265—266].

К 1944 г. относится крупнейший творческий замысел Шенвальда военных лет — оставшаяся незавершенной поэма «Через линию фронта» и примыкающий к ней окончательный вариант стихотворения «Красной Армии», построенного по образцу патетической оды.

Важную роль в символике поэмы играют собственные имена: польская историческая традиция напрямую связывается с современностью в своеобразном поэтическом воплощении патриотической памяти народа. Здесь в реалии оккупированной Польши вплетаются имена государственных деятелей, революционеров, героев крестьянских и национально-освободительных восстаний прошлого, а Рада Народова воспринимается не только как государственный орган времен восстания Костюшко, но и как часть названия первого правительства демократической Польши (читатели — бойцы Войска Польского воспринимали ее именно так).

Рядом с темой борьбы вырастает второй ведущий мотив, встречавшийся еще во львовском стихотворении без названия («Город, что был...»), окончательно оформившийся в отрывках поэмы: видение будущей освобожденной Польши, плодородных нив, мощных заводов и фабрик, светлых городов, полных кипучего, словно наэлектризованного движения. Этот образ очень устойчив в военном творчестве Шенвальда: в той или иной степени детализированным он появляется в 7 из 19 произведений, переиздававшихся после войны. Я. Тарчалович, основываясь прежде всего на центральном образе львовского стихотворения [4, s. 237], пожалуй, неточно охарактеризовал эти фрагменты как наивную транспозицию слов В. И. Ленина об электрификации и коммунизме. Ведь поэтическая изобретательность Шенвальда, разнообразие в показе дорогих сердцу, картин, искусная звуковая и образная передача индустриального ритма выходят далеко за пределы буквального стихотворного воплощения политического лозунга.

Судьба военных стихов Шенвальда в польской литературе в известной мере парадоксальна: поэт, при жизни нередко бывавший мишенью упреков во вторичности и эпигонстве, после своей гибели сам стал источником вдохновения для целой плеяды подражателей и последователей. В их стихах, посвященных братству по оружию, Оке, битве под Ленино, можно обнаружить и примитивный пересказ образного ряда того или иного произведения Шенвальда; и попытки создать собственную версию не виденных воочию событий, используя поэзию Шенвальда как своеобразную поэтическую энциклопедию. Закономерность возникновения такой «поэтической школы» представляется глубоко обоснованной своеобразием творчества поэта-солдата.

Особое место в творчестве Шенвальда военного периода занимают два стихотворения, в которых ведущая тема борьба с врагом раскрывается через посредство глубоко интимных, семейных и любовных мотивов. «Три женщины» привлекают внимание русского читателя своим сходством со стихотворением К. Симонова «Убей его» (1942), не только по основной идее, апеллирующей не к умозрительным, декларативным построениям, а к глубинным чувствам народа, но и по композиции: в единый образ Родины сливаются голоса матери, сестры, и возлюбленной солдата, который должен отомстить за них. Можно привести еще одну типологическую параллель с более ранним стихотворением «Примкнуть штыки» В. Броневского, хотя гражданский пафос у Шенвальда еще в большей степени, чем у Броневского и Симонова, опосредован моментом интимности. Два польских стихотворения по краям временной рамки, с русским между ними, образуют как бы триединство, иллюстрируя развитие мотивов антифашистского сопротивления и патриотизма в военной лирике братских литератур. Разделившие их годы и события лишь подчеркивают идейную и художественную близость передовых рубежей социалистической литературы СССР и Польши.

Я. Тарчалович, посвятивший в своей монографии основное внимание фольклорной поэтике Шенвальда (отчасти в ущерб более универсальным толкованиям идейно-художественной структуры, которые при такой чрезмерной детализации порой выглядят обедненными, выделяет второй уровень строго соблюдаемой трихотомии в отточенной конструкции стихотворения «Три женщины»: каждая из его частей содержит еще одну, внутреннюю триаду (стихи 1—8 — женщина называет себя, вспоминает прошлое и свою любовь к бойцу; 9—16 — образ преступлений гитлеровцев и мук жертвы; 17—20 — призыв поклясться в мести именем близких) [4, с. 241].

Еще проникновеннее лиризм стихотворения «Умершей», не обобщенного, как предыдущее, в символических образах, а посвященного конкретному человеку: жене поэта Стефании Алине⁷. «Нетипичное» звучанием своей вводной части для польской поэзии в СССР, преимущественно чисто «гражданской», оно по силе чувства может быть сопоставлено с лучшими произведениями любовной лирики, созданными в годы войны в оккупированной стране и в западной эмиграции, но отличается атмосферой деятельной мужественности, отсутствием обреченности.

Настрой интимного воспоминания, ночной беседы с душой погибшей возлюбленной еще усиливается заглавием заключительной части стихотворения — «Постскрипту» (исчезнувшим из русского перевода П. Антокольского⁸, в большинстве строф которого лишь с трудом можно угадать связь с оригиналом).

В «Постскрипту» есть строки:

Милая! Если мне рок позволит
Доплыть до нашей Итаки над Вислой —
В краю, восставшем из гроба неволи,
Памятник я не такой тебе выстрою!

Известие о гибели жены оказалось ложным: С. А. Шенвальд дожила до наших дней. Рок не пощадил самого поэта: 22 августа 1944 г. Шенвальд по нелепой случайности погиб в расцвете жизненных и творческих сил, оставив незавершенные замыслы, погиб, когда так близко уже была родная Варшава, куда он так стремился пойти. В третью годовщину освобождения столицы туда был перенесен его прах.

Другим памятником Люциану Шенвальду — кроме скромного солдатского надгробия — стал его труд поэта — стихи, не утратившие своей ценности до наших дней.

⁷ Не Розе Закс, как утверждает комментарий В. Э. Арцимовича! [10, с. 162].

⁸ Памяти погибшей [10, с. 109—112].

1. *Biskupski B.* Spotkania z kapitanem Szenwaldem. Warszawa, 1954.
2. Wspomnienia o Lucjanie Szenwaldzie. Red. G. Pauszer-Klonowska. Warszawa, 1963.
3. *Bujnicki T.* O poezji rewolucyjnej. Szkice i sylwetki. Katowice, 1978, s. 179—210.
4. *Tarczałowicz J.* Lucjan Szenwald. Życie i twórczość. Warszawa, 1977.
5. *Хорев В. А.* Творчество Л. Шенвальда в 20-е — 30-е годы.— В кн.: Литература славянских народов, выш. 4. М., 1959, с. 54—90.
6. *Хорев В. А.* Становление социалистической литературы в Польше.— М., 1979.
7. Творча дискусія: виступи письменників.— Література і мистецтво, 1941, т. 2, № 4, с. 39.
8. Czerwony Sztandar, 15 IX 1940.
9. *Wasilewska W.* Przedmowa.— In: Szenwald L. Pisma wybrane. Warszawa, 1955, s. 6.
10. *Шенвальд Л.* Плечом к плечу. М., 1949.
11. *Huszczka J.* «Wielka podróż» Stanisława Balińskiego.— Nowe Widnokregi, 1944, t. 4, №. 11/12, s. 18.
12. *Wende J. K.* Ta ziemia od innych droższa... Warszawa, 1981, s. 255—257.



ИСТОЧНИКИ ЛЕКСИЧЕСКОГО ФОНДА СЛОВАЦКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

При изучении формирования лексического фонда словацкого литературного языка, начиная со времени первой его кодификации, проведенной Антоном Бернолаком (1787), на первый план выступают следующие основные вопросы:

1) отношение словацкого литературного языка к словацким диалектам и народной речи как источнику обогащения лексики литературного языка; 2) позиция кодификаторов словацкого литературного языка по отношению к чешскому языку как к культурному языку, служившему источником лексического обогащения словацкого литературного языка; 3) позиция кодификаторов словацкого литературного языка по отношению к иностранным словам.

1.0. Вопрос об отношении словарного состава словацкого литературного языка к словацким диалектам начал привлекать внимание исследователей только в последние десятилетия, после выявления лингвогеографической дифференцированности лексики словацких диалектов. Однако следует остановиться и на более ранних взглядах, высказывавшихся по более общему вопросу о диалектной основе словацкого литературного языка.

Несмотря на определенные различия в трактовках этого вопроса, самый факт тесной связи словацкого литературного языка (особенно ввиду его относительно позднего возникновения) с его диалектной основой представляется бесспорным. Эта связь не всегда была непосредственной, узко локальной, зачастую она осуществлялась через промежуточную ступень наддиалектных и культурных языковых образований (культурного диалекта или же культурного языка).

1.1. При анализе литературного словацкого языка, кодифицированного Антоном Бернолаком, как правило, прежде всего подчеркивалась его западнословацкая диалектная основа, или без более точной локализации, вообще, или же конкретно, с непосредственным указанием диалекта (чаще всего речь шла о трнавском диалекте, реже о нитранском или тренчанском). Наряду с западнословацкими особенностями бернолаковского языка sporadически упоминаются также среднесловацкие, реже общесловацкие его элементы (подробнее см. [1]). Сам А. Бернолак вслед за М. Белом считал, что наиболее правильный словацкий язык распространен в местах, максимально удаленных от чехов, моравян, поляков и венгров, т. е., в сущности, это среднесловацкий язык. В соответствии с этим Бернолак и позднее утверждал, что правильный и чистый словацкий язык не следует усматривать в каком-либо отдельном диалекте, например, в трнавском, скалицком, так называемом белогорском или в диалектах долины Нитры и Вага [2, т. I, с. VIII]. Впрочем, в подходе А. Бернолака к литературному языку проявляется позиция просветите-

ля, стремящегося при совершенствовании языка также и к просветительским целям на благо народа, и в то же время предлагающего за норму литературного языка взять язык «не простого люда, но произношение людей образованных и ученых и притом менее других ратующих за богемизмы». Впрочем, эта позиция Бернолака была частично модифицирована в его Словаре сознательным включением таких слов, которые, по мнению самого Бернолака, многими будут расцениваться как «горняцкие» (*montanistica*), т. е. в сущности диалектные [2, т. I, с. II; т. VI, с. 13].

1.2. При оценке словацкого литературного языка, кодифицированного Л. Штуром, для которого характерна романтическая ориентация на народ, обычно подчеркивалась его связь с народной речью, со среднесловацкими диалектами. Первоначально в характеристике диалектной основы штуровского литературного языка оставались некоторые неясности. Чаще всего в нем видели отражение липтовских диалектов (Ю. Палкович, Я. Коллар, С. Ормис, С. Дюркович, Я. Влчек и др.), реже — зволениских диалектов (В. Вондрак). Лишь в 30-е годы было впервые указано на то, что штуровский язык связан и с другими среднесловацкими (а также частично с западно- и восточнословацкими) диалектами. Ныне основой литературного языка, созданного Л. Штуром, признается «некое койнэ среднесловацких диалектов» (Э. Паулини) [3], «среднесловацкий интердиалект» [4], «среднесловацкий культурный интердиалект» [5, с. 151]. Лишь в последнее время стало возможным дать более подробную характеристику штуровского литературного языка на базе детального изучения словацких диалектов, опирающегося на материалы полевых исследований [6].

Повод к тому, чтобы рассматривать штуровский литературный язык как опирающийся на среднесловацкие диалекты, дает сам кодификатор, обосновывая свой выбор следующим образом: «Чище и красивее всего говорят по-словацки в самих Татрах, в сердце этого края: в Липтове, Ораве, Турце, Верхнем Тренчине, Верхней Нитре, Зволене, Текове, Гонте, Новограде, а также в большей части Гемера, где, впрочем, словацкий язык часто бывает смешанным, и, наконец, в Нижних землях; и его-то, желая хорошо и чисто писать по-словацки, должны мы принять за язык литературный» [7]. Географические рамки, которыми Штур ограничивает область среднесловацкого диалекта, довольно точны; сам литературный язык Штура представляет собой своеобразный подбор среднесловацких языковых явлений, характерных для этой области, причем упор сделан на явления, общие для максимально большей части словацкой языковой территории.

1.3. Так называемая годжовско-гатталовская реформа словацкого литературного языка не была направлена на радикальное изменение его диалектной базы, но проведенные в ее рамках преобразования все же нарушили среднесловацкую ориентацию литературного языка. М. Гаттала обладал определенными познаниями о лингвогеографической дифференциации словацких диалектов, а также о некоторых конкретных их особенностях, однако осознанный диалектологический подход в его кодификации литературного языка и его словарного состава отсутствует [8, 9].

1.4. Больше внимание связи литературного языка с его диалектной основой стало уделяться в так называемый послематичный или мартинский период¹. Предпочтение, оказываемое среднесловацким диалектам характерно для «мартинского узуса». В этом духе работал и С. Цамбел, завершивший кодификацию словацкого литературного языка, ориентируясь на среднесловацкие диалекты. В связи с этим кодификация словаря и синтаксиса словацкого литературного языка, осуществленная Цамбелем, обычно расценивается как носящая фольклористический характер [10].

¹ Матица словацкая — культурно-просветительское общество, созданное в 1863 г. в г. Мартине (Турчагски-Свети-Мартин).

1.5. Признание за диалектами роли эталонов языковой правильности и регуляторов развития литературного языка оставалось теоретической основой кодификационной деятельности (в особенности в области лексики) и после первой мировой войны, когда в результате создания чехословацкой государственности значительно расширились общественные функции словацкого литературного языка. К опоре на диалекты призывали, например, языковеды-пуристы (Г. Бартек, Я. Мигал и др.) на страницах основанного ими журнала «Slovenská reč». Следование духу языкового пуризма приводило к тому, что зачастую без достаточных оснований отдавалось предпочтение тем диалектным словам, которые отличались от чешских, например, *obláčik/okienko*, *chogoba/nemos*, *ropoludní/roobede* и др. В области лексики велась борьба за ограничение числа чешских и немецких заимствований и замену их при помощи лексических средств народного языка. Пуристические тенденции частично затронули развитие терминологии (прежде всего естественнонаучной, анатомической и юридической — разработки Й. Мартинека, Я. М. Новацкого и О. Ферянца, Й. Ледени, Ф. Есенского, Й. Петриковича и др.). К оценке языкового пуризма см. [11, 12].

1.6. В настоящее время исследования в области лексики литературного языка могут опереться на данные о лингвогеографической дифференциации словацких диалектов, полученные в результате их детального изучения, которое велось с 1947 г., а в области лексики особо интенсивно с 1966 г. Результаты этих исследований уже обработаны и составили материал диалектологического атласа словацкого языка, а также используются в многочисленных частных исследованиях диалектной лексики в лингвогеографическом аспекте (см., например, [13, 14]). Сопоставление диалектологических данных по лексике с ситуацией в литературном языке указывает, с одной стороны, на высокий удельный вес в нем среднесловацких элементов и, с другой стороны, на обусловленность некоторых синонимов литературного языка междиалектными лексическими различиями.

1.7. Однако, не обладая кругом функций, присущих литературному языку, диалекты не могли быть — и не были — единственным источником его формирования. Это стало особенно очевидно на современном этапе развития словацкого литературного языка, когда признание необходимости тесной связи между его словарем и лексикой диалектов сочетается с тенденцией к устранению традиционализмов и историзмов, в том числе и таких, которые еще существуют в некоторых словацких диалектах. Хотя тесная связь лексики литературного языка и диалектов отчетливо прослеживается еще со времени его первой кодификации, тем не менее ни на одном этапе развития словацкого языка эту связь нельзя рассматривать как идентичность. Лексический фонд словацкого литературного языка богаче лексического фонда какого-либо определенного диалекта; кроме слов, употребляемых в диалектах, в него входит культурная профессиональная терминология, нередко связанная с такими сферами производства, экономики, культуры и общественной жизни, которые в лексике диалектов не отражены. Разнообразие функций литературного языка определяет большую дифференцированность его лексики с точки зрения как стилистики, так и экспрессивности и социального функционирования. Общепризнанным является тот факт, что в процессе развития словацкого литературного языка определенную роль наряду с диалектами сыграли культурные языковые традиции, межъязыковые контакты и модель других развитых литературных языков.

2.0. С вопросом об отношении лексики словацкого литературного языка к чешскому на различных этапах его развития были связаны специфические проблемы. Они были обусловлены положением, которое занимали носители словацкого языка в исторических, политических и общественных условиях конкретных эпох. Особое значение имеет также факт исключительно близкого родства обоих языков, равно как и различие исторических, политических и экономических условий, в которых жили носители этих языков и в которых эти языки развивались.

2.1. Кодификаторы словацкого литературного языка опирались также на существовавшие в Словакии долитературные культурные языковые образования: А. Бернолак — на культурный западнословацкий язык, Л. Штур — на культурный среднесловацкий язык. Словацкий литературный язык воспринимал богемизмы как бы сквозь фильтр культурного словацкого языка, заимствуя из чешского языка необходимые лексические элементы, в особенности термины, или же образуя новые слова по моделям чешского языка. Однако вместе с этим в кодификациях литературного языка явственно прослеживается стремление дифференцировать словацкий язык от чешского. Уже А. Бернолак в своем «Рассуждении» отмечал, что приложил много сил для того, чтобы очистить словацкий язык «от ошибок, которые были внесены в наш язык и в наше произношение из чешского языка» [15], в «Орфографии» он выдвигает в виде образца «произношение людей образованных и ученых и притом менее других ратующих за богемизмы» [16]. В своих работах по грамматике он неоднократно показывает на конкретных примерах различия между словацким и чешским языками; наконец, в предисловии к «Словарию» он высказывает убежденность в том, что и после исключения части чешской по происхождению лексики в словацком языке найдется для ее замены необходимое количество слов, «которыми (соотечественники) смогли бы выразить душевные помыслы или какие-либо иные вещи» [2, t. I, s. IX]. Стремление А. Бернолака создать словацкий литературный язык как язык самостоятельный, максимально независимый от чешского языка, наиболее отчетливо проявилось в его шеститомном пятиязычном «Словаре» [2], где он постоянно выделяет богемизмы не только лексические (krčhow, ср. cinter; skot, ср. stádo; špaček, ср. škores), но также фонетические (gablčník, ср. gablčnik; krew, ср. krw; žlutí, ср. žlti) и словообразовательные (smetište, ср. smetisko; kominík, ср. kominár). Однако при более подробном рассмотрении разработки лексики в «Словаре» можно заметить, что ко многим богемизмам (например, из разряда союзов, абстрактных слов, терминов) А. Бернолак относился терпимо, поскольку они широко употреблялись в культурном языке словацкой народности в долитературный период [17, 18].

2.2. Людовит Штур также сознавал необходимость последовательного разграничения чешских и словацких форм. В своих языковедческих трудах он подчеркивает многие различия, существующие между этими языками (в частности, в области семантики и лексики [19]). Однако наряду с верными наблюдениями над различиями между чешским и словацким языками (например, blbý, blíti, krouk, brýle, jho, hlemýžď, hoch.../baláčat', boženík, chotár, haliena, kozub, kuvik, ligotat'sa...), отдельные наблюдения Л. Штура ошибочны (например, такие приводимые им словацкие слова, как dívat'sa, dvojšatá, chrúst есть и в чешском языке).

Однако, ставя на одну чашу весов языковые и другие факты, которые говорят о необходимости писать по-словацки, Штур ставит на другую чашу этих же весов стремление не порывать с чехами, но, напротив, сохранять с ними духовную связь. С точки зрения штуровской кодификации литературного языка в сфере лексики эта «духовная связь» с чешским языком может быть проиллюстрирована, например тем, что за основу словацкой лингвистической терминологии Л. Штур берет хорошо разработанную чешскую лингвистическую терминологию. Такие грамматические термины, как sloveso, príslovka, predložka, spojka, pravopis и др. Штур заимствует у В. Ганки. Во времена Л. Штура в словацкий язык вошло и большое число названий абстрактных понятий и конкретных предметов, появившихся в чешском языке в начале XIX в. в результате деятельности Й. Юнгмана и его школы (poznatok, predstava, pojem, sústava, veda, účel, výsledok, zámer, názor, rozbor, časopis, nerast, rastlina, dusík, kyslík, kyselina, prvok, zlúčenina, trojuholník, štvorec, výkres, otvor и др. Сейчас эта лексика считается в словацком языке полностью освоенной и не рассматривается как заимствованная. К проблематике штуровского литературного языка см. статьи в журнале «Slovenská reč» 21, 1956, а также [5, с. 124—157; 20, 21].

Оценка роли чешского языка для словацкого литературного языка, которую дает Штур, в известной мере сходна с оценкой А. Бернолака. Оба кодификатора словацкого литературного языка выступали против излишних богемизмов, в особенности фонетических, но допускали заимствование чешских слов и прежде всего специальной терминологии.

2.3. Мартин Гаттала, третий кодификатор словацкого литературного языка, историческая заслуга которого состоит в своего рода синтезе двух предшествующих вариантов, не занимался специально разработкой литературного словаря. Его работы по лексике, такие, как *Brus jazyka českého, příspěvek k dějinám osvěty vůbec a slovanské i české zvláště* (Praha, 1877), находились на периферии его лингвистической деятельности и существенного влияния на развитие лексики словацкого литературного языка не оказали.

2.4. Подробную оценку роли чешского языка в истории словацкого литературного языка дал позднее С. Цамбел в статье «Чешский и чехословацкий язык в Венгрии до середины XVI в.» [22]. Заслуживает внимания мнение Цамбеля о том, «что мы, словаки, в своем литературном языке совсем не оторвались от чехов, что наш (литературный) язык развивался из чешского и рядом с чешским естественным путем, постепенно, по необходимости медленно, на протяжении многих веков, а Бернолак лишь формально санкционировал то, что уже в те времена реально существовало в литературном языке словаков» [23].

Близость словацкого и чешского языков в их истории Цамбел учитывал и при оценке уместности или неуместности определенных слов чешского происхождения в словацком языке — его замечания о словоупотреблении содействовали стабилизации лексики словацкого литературного языка. Своей редакторской, а также языково-корректорской деятельностью этому способствовал и Й. Шкультеты. П. Тврды на основе замечаний Цамбеля и Шкультеты относительно неправильных слов и выражений составил небольшой словарь и публиковал его с продолжением в первые годы издания журнала «Slovenská reč».

2.5. Эту тенденцию (предпочтительное употребление словацких, а не заимствованных слов) продолжили и развили в тридцатые годы словацкие пуристы (Г. Бартек, А. Яношик, Б. Лец, Я. Мигал и др.). Острие их борьбы было направлено в первую очередь против богемизмов, в меньшей степени — против лексических заимствований другого происхождения. Это было связано, в частности, с тем, что после создания общего государства чехов и словаков в 1918 г. словацкий язык распространился на новые, нетрадиционные сферы употребления (административная и общественная жизнь, наука, техника и т. д.), в которых зачастую остро вставал вопрос об адекватности выражения тех или иных понятий. При этом в новых культурно-политических условиях чешская интеллигенция и чешский язык оказывали в некоторых случаях нежелательное влияние на лексику словацкого литературного языка. Официальная концепция чехословацкого языкового единства проявлялась также в сознательном введении в словацкий язык чешских лексических элементов. В «Правилах словацкой орфографии», изданных в 1931 г., явственно отразилась линия их главного составителя, профессора Вацлава Важного, на богемизацию словацкого литературного языка; он, в частности, считал словацкими даже такие слова, как *láhev/láhva, pretože, zed', kozel* (наряду с *fl'aša, lebo, stena, sar*) и др.

2.6. Значительным вкладом в стабилизацию словацкой лексики было издание «Правил словацкой орфографии» 1940 г. В этом издании были устранены многие слова, присутствие которых в лексике словацкого литературного языка было нежелательным, что способствовало его переходу к новым, современным формам. Настоящий его расцвет наступает только в послевоенные годы, когда были созданы благоприятные условия для научного изучения словацкого языка и для его употребления в самых разнообразных жизненных сферах (общественной, экономической, политической, научной и технической). При рассмотрении вопроса об отношении лексики словацкого литературного языка к словарному

составу чешского языка обращается внимание на существующие между этими языками различия. Желательно стремиться к созданию новых названий при помощи параллельных словообразовательных средств (это удастся осуществлять прежде всего при образовании новых слов терминологического характера, таких, например, как žiarivka, zrkadlovka, obrazovka, časenka, miestenka, autonehoda, rozhalenka, dvojfázový zber, fázový predstih и др.), однако необходимо в то же время считаться со специфическими различиями между этими языками (ср., например, jednotné rol'nicke družstvo при чешск. jednotné zemědělské družstvo и др.).

3.0. Лексика литературного языка никогда не строится только на основе лексики опорного для него диалекта или долитературного языкового образования; в соответствии с насущными коммуникативными потребностями общества собственные лексические средства дополняются заимствованиями из других языков. Начиная с самых ранних этапов развития словацкого языка на его лексике отражалось влияние языковых контактов. Многие из древнейших лексических заимствований сейчас могут быть опознаны только специалистами-этимологами. Большой интерес с точки зрения развития лексики словацкого языка представляет тот слой лексических заимствований, который в определенной степени сохранил печать чужезычности. Кодификаторы словацкого языка и его носители должны были считаться с наличием этого слоя.

3.1. Хотя А. Бернолак не сформулировал свои теоретические взгляды на заимствования, они нашли практическое выражение в его лексикографической деятельности, в тех оценках, которые он давал отдельным словам иноязычного происхождения. Из его концепции Словаря явствует, что он не был принципиальным противником заимствования слов из других языков (особенно когда речь шла о специальной терминологии). Он признавал допустимыми значительное количество слов венгерского и немецкого происхождения, в особенности тех, которые были распространены в диалектах и в разговорном языке городского населения. В то же время в Словаре заметна тенденция исключать из литературного языка иноязычные (прежде всего немецкие и венгерские) слова и заменять их либо словами (или словосочетаниями) словацкого или чешского происхождения, либо словами, образованными по иноязычным моделям. Эта линия развития лексики словацкого литературного языка становилась все определеннее в последующие периоды его развития.

3.2. Л. Штур также не являлся противником заимствования иноязычных слов, в особенности международных. Об этом говорит и его критика языкового пуризма в Чехии, который вел к замене общераспространенных международных слов чешскими неологизмами. В то же время Штур выступал против необдуманного заимствования иноязычных слов и форм.

3.3. М. Гаттала не занимался специально вопросами развития словацкой лексики. Однако в принципе он не возражал против иноязычных слов, поскольку, по его мнению, показателем самобытности и сохранности языка являются не эти слова, а его идиоматичность.

3.4. Забота о языковой культуре, в особенности о чистоте лексики словацкого литературного языка, приобрела специальные организационные формы во второй половине XIX в. Одной из задач созданного в это время языковедческого (филологического) отделения Матицы словацкой, членами которой были М. Гаттала, М. М. Годжа, Э. Черны, Ф. Мраз, М. Годра, Л. Мичатек и др.), признавалась забота об «облагораживании» и нормализации словацкого языка и стиля. В области лексики была поставлена цель «защищать чистоту, исконность и самобытность языка от ошибочного подражания чужезычным формам и выражениям». Однако поставленные цели были осуществлены лишь в минимальной мере в виде отдельных замечаний об избыточности некоторых синонимов (в частности, иноязычных), и о ненужности некоторых заимствованных слов.

Наиболее явственный след в истории развития словацкой литературной лексики оставил С. Цамбел, который ориентировал ее на народную

речь, стремясь при этом к исключению несловацких лексических элементов. Одной из целей лингвистических трудов Цамбеля, как и его практической редакторской деятельности (в газете «Slovenské noviny», выходившей в Будапеште с 1880 г.), была забота о совершенствовании литературного языка, в первую очередь стремление очистить его от чуждых элементов (как чешских, так и венгерских, немецких, русских и др.). Замечания Цамбеля, а также И. Шкультеты относительно правильности словоупотребления способствовали стабилизации сложившейся к тому времени лексики словацкого литературного языка. (Подробнее см. [24].)

3.5. Для современного этапа развития словацкого литературного языка нехарактерны пуристические гонения на иноязычные лексические заимствования. Принимаются во внимание насущные нужды коммуникации, обусловленные прежде всего развитием науки и техники. Как освоенные, так и новые заимствования во многих случаях признаются допустимыми.

4. Из сказанного выше следует, что начиная со времени первой кодификации словацкого литературного языка его лексический фонд формировался в тесной связи со словацкими диалектами, несмотря на частичные различия в трактовках кодификаторами форм и масштаба этой связи. Наряду с основным слоем слов словацкого диалектного происхождения в литературном языке употребляются также многие лексические заимствования как из чешского, так и из других языков; в то же время избыточное употребление заимствований вызывает возражения. Положение, сложившееся в словацком языке в результате взаимодействия этих тенденций, представлено в академическом Словаре словацкого языка [25], содержащем более 120 000 слов, а также в Словаре иностранных слов [26], который отмечает более 60 000 слов иностранного происхождения, вошедших в состав словацкого языка (значительную их часть составляет специальная терминология).

ЛИТЕРАТУРА

1. *Habovštiakova K.* Bernolákovo jazykovedné dielo. Bratislava, 1968, s. 313—326.
2. *Bernolák A.* Slowák slowenski, česko-lat'insko-ňemecko-uherski. I—VI. Budaë, 1825—1827.
3. *Pauliny E.* Dejiny spisovnej slovenčiny. Bratislava, 1948, s. 72.
4. *Jóna E.* Účasť Ľudovíta Stúra pri utváraní spisovnej slovenčiny.— *Slovenská reč* 21, 1956, s. 144.
5. *Смирнов Л. Н.* Формирование словацкого литературного языка в эпоху национального возрождения (1780—1848).— В кн.: Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1978, с. 86—157.
6. *Habovštiak A.* Ľudovít Stúr a slovenské nárečia.— *Slovenská reč* 21, 1956, s. 218—231.
7. *Stúr L.* Náuka reči slovenskej. V prešporku, 1848, s. 8.
8. *Kotulič I.* Poznámky k niektorým názorom a postojom M. Hattolu.— In: *Martin Hattala 1821—1903. Materiál z konferencie konanej v Trstenej dňa 21. a 22. októbra 1970.* Zostavil a upravil J. Ružička. Ružomberok, 1971, s. 42.
9. *Majtán M.* Nárečové javy v Hattalovom gramatickom diele.— In: *Martin Hattala 1821—1903. Materiál z konferencie konanej v Trstenej dňa 21. a 22. októbra 1970.* Zostavil a upravil J. Ružička. Ružomberok, 1971, s. 74—75.
10. *Ružička J.* Slovenčina. Spisovná slovenčina v Československu. Bratislava, 1970, s. 34.
11. *Blanár V., Jóna E., Ružička J.* Dejiny spisovnej slovenčiny II. Bratislava, 1974, s. 211—214.
12. *Jóna E.* Norma spisovného jazyka a ľudové nárečia.— *Slovenská reč* 20, 1955, s. 228.
13. *Habovštiak A.* Slovná zásoba spisovnej slovenčiny vo vzťahu k slovenským nárečiam.— In: *Jazykovedné štúdie 13. Jónov zborník.* Red. J. Ružička. Bratislava, 1976, s. 101—107.
14. *Habovštiak A.* Najvýraznejšie lexikálne areály v slovenských nárečiach.— In: *Jazykovedné štúdia 14. Stanislavov zborník.* Red. J. Ružička. Bratislava, 1977, s. 220—228.
15. *Bernolák A.* Dissertatio philologico-critica de literis Slavorum. Posonii, 1787, p. III.
16. *Bernolák A.* Linguae Slavonicae per regnum Hungariae usitatae compendiosa simul, et facilis Orthographia. Posonii, 1787, p. 8.
17. *Habovštiaková K.* Podiel čestiny na formovaní Bernolákovej spisovnej slovenčiny.— In: *Acta Universitatis Carolinae, Philologia.*— *Slavica Pragensia* IV, 1962, s. 551—557.

18. *Habovštiaková K.* O lexikálnych bohemizmoch v slovenčine predpisovného obdobia.— In: *Stúdie Pedagogickej fakulty v Nitre.*— Zborník jazykovedných štúdií na počesť VII. slavistického kongresu vo Varšave. Red. S. Krištof. Bratislava, 1973, s. 121—130.
19. *Stúr L.* Nárečja slovenskua alebo potreba písanja v tomto nárečí. V Prešporuku, 1846, s. 74—88.
20. *Paulíny E.* Čeština a jej význam pri rozvoji slovenského spisovného jazyka a našej národnej kultúry.— In: *O vzájomných vzťahoch Čechov a Slovákov.* Bratislava, 1956, s. 99—124.
21. *Kondrašov N. A.* Vznik a začiatky spisovnej slovenčiny. Bratislava, 1973.
22. Опубликовано в кн.: *Cambel S.* Príspevky k dejinám jazyka slovenského. Budapešť, 1887, s. 1—32.
23. *Jóna E.* Samo Cambel (1856—1909) a spisovná slovenčina.— *Slovenská reč* 24, 1959, s. 327.
24. *Habovštiaková K.* Slová mad'arského pôvodu v slovenčine.— *Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae* 25, 1979, s. 169—176.
25. *Slovník slovenského jazyka.* I—VI. Red. S. Peciar. Bratislava, 1959—1968.
26. *Ivanová-Salingová M., Maníková Z.* Slovník cudzích slov. Bratislava, 1979.



ДЗЕНДЗЕЛЕВСКИЙ И. А.

И. Н. ВАГИЛЕВИЧ КАК РЕДАКТОР СЛОВАРЯ С. Б. ЛИНДЕ (К ИСТОРИИ УКРАИНСКО-ПОЛЬСКИХ НАУЧНЫХ СВЯЗЕЙ СЕРЕДИНЫ XIX В.)

Выдающееся явление в истории польской и вообще славянской лексикографии представляет собой изданный в 1807—1814 гг. в Варшаве шеститомный «Słownik języka polskiego» С. Б. Линде. Этот словарь, привлечший к себе внимание сразу же после появления первого его тома, надолго стал самым авторитетным лексикографическим сводом по польскому языку; о нем много писали авторы прошлого и нынешнего столетий, продолжают появляться работы о словаре С. Б. Линде и в наше время. Но, несмотря на существование солидной литературы вопроса [1], некоторые моменты требуют еще внимательного исследования.

После выхода первого издания С. Б. Линде (24 IV 1771 — 8 VIII 1847) не прекращал работы над своим словарем. До самой смерти лексикограф настойчиво трудился над пополнением словника, усовершенствованием объяснений реестровых слов, расширением иллюстративной части и т. п.

Второе, посмертное, издание словаря С. Б. Линде было осуществлено во Львове в 1854—1860 гг. усилиями Оссолинеума под руководством известного польского историка и издателя памятников Августа Белёвского (1806—1876)¹. В редактировании второго издания словаря С. Б. Линде принимал участие и Иван Николаевич Вагилевич (2 IX 1811 — 10 VI 1866) — известный украинский писатель и поэт, и одновременно с этим один из выдающихся ученых своего времени (фольклорист, литературовед, этнограф, лингвист, историк), много сделавший в области славистики и, в частности, полонистики. Другими редакторами, наряду с А. Белёвским и И. Вагилевичем, были Ян Залуский (1820—1887), Дионисий Зубжицкий (1777—1862), Фелициан Лобеский (1814—1859), Кароль Шайноха (1818—1868) и Станислав Пшиленцкий (1805—1868).

Второе издание существенно отличается от первого. В нем, во-первых, учтены все коррективы и дополнения самого С. Б. Линде, во-вторых, сверено и уточнено значительное количество цитат-иллюстраций по авторитетным изданиям и, в-третьих, редакторами от себя сделано много разных дополнений, уточнений, исправлений и пр. Редакторы, руководствуясь принципом сохранения авторского текста словаря, свои собственные дополнения давали в квадратных скобках, при этом вставки каждого редактора паспортизировались особым цифровым индексом: А. Белёвский — 1, И. Вагилевич — 2, Я. Залуский — 3, Д. Зубжицкий — 4, Ф. Лобеский — 5, К. Шайноха — 6, С. Пшиленцкий — 7. Та-

¹ Третье издание словаря С. Б. Линде (т. I—VI, Варшава, 1954) осуществлено фотосфетным способом со второго издания.

ким образом, сопоставив текст первого (варшавского) и второго (львовского) изданий словаря С. Б. Линде, вообще легко можно разделить первую редакцию, более поздние авторские дополнения и коррективы и, наконец, текстовые вставки каждого из семи редакторов.

По нашим подсчетам И. Вагилевичу принадлежит свыше 1240 редакторских вставок — разных дополнений, уточнений, исправлений и т. п.², т. е. намного больше, чем всем остальным шести редакторам вместе взятым. Имеются сведения, что И. Вагилевич, кроме того, осуществил основную работу со старославянскими параллелями, заменив значительное количество их передач русской гражданкой (что последовательно практиковалось в первом издании) написаниями оригинальной кириллической графикой. Вообще во втором издании словаря С. Б. Линде старославянская часть существенно расширена, в чем основная заслуга И. Вагилевича, который сам добавил свыше 120 старославянских параллелей³.

Организатор и руководитель переиздания словаря А. Белёвский в предисловии ко второму изданию словаря С. Б. Линде специально выделяет редакторскую работу И. Вагилевича и так о ней пишет: «Взаимное соотнесение разнообразных замечаний, определение их уместности или неуместности, представление их в форме, отвечающей нашим принципам, или замена новыми, четкое упорядочение слов и проверка во многих местах цитированного текста по самим источникам и т. д., обычно причиняет столько хлопот, что с учетом иных затруднений, связанных с нашей деятельностью, мы никогда бы не справились с этим, если бы не неизменная помощь г-на И. Вагилевича, который, приняв на себя за весьма умеренное вознаграждение часть кропотливой проверочной работы, помог нам как увлеченностью предметом, так и своими обширными филологическими познаниями. Ему же нынешнее издание обязано и теми поправками, которые можно в нем найти в отношении церковнославянского языка, а отчасти и других славянских диалектов» [2, s. 13—14]. В другом авторитетном источнике читаем: «Вагилевич, кроме того, был вместе с Каролом Шайнохой душой переиздания словаря Линде, исправляя текст, проверяя цитаты и внося дополнения. Он должен был даже опубликовать дополнительные тома» [3, s. 302]. Я. Захарияевич в очерке жизни и деятельности И. Вагилевича свидетельствует, что при переиздании словаря С. Б. Линде «все огромные тома этого мо-

² В том числе в т. I около 110, в т. II — свыше 150, в т. III — около 130, в т. IV — около 180, в т. V — около 420 и в т. VI — свыше 250.

³ И. Вагилевич специально изучал вопрос об отношениях старославянского и польского языков. А. Белёвский в предисловии ко второму изданию словаря С. Б. Линде пишет, что И. Вагилевич подготовил к печати разыскание «O stosunku języka starosłowiańskiego do polskiego» [2, s. 9, сноска]. «Encyklopedia powszechna» эту работу называет «O stosunku języka starosłowiańskiego czyli cerkiewnego do języka polskiego» [3, s. 303]. К сожалению, это — безусловно, очень интересное — исследование И. Вагилевича (в котором, кроме прочего, приводится большой список слов, которые с тождественным значением известны только старославянскому и польскому языкам, [2, s. 9—10, сноска]) остается в рукописи и ныне хранится во Вроцлаве (Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, рукописный отдел, № 2411/I). Оно входит в состав объемистого тома «Badania filologiczne» (1856) и носит здесь название «O uprawie języka starosłowiańskiego w Polsce». Работа состоит из разделов: I. «Obgądek greckosłowiański»; II. «Język książkowy starosłowiański»; III. «Stosunek staropolskiego języka do starosłowiańskiego»; IV. «Glosarium staropolskiego języka». В этом же рукописном томе содержится и неопубликованная работа И. Вагилевича «Niemo o pierwiastkach słowiańskiego języka», датированная 1853 г. (в [3, s. 303] упоминается, вероятно, эта же работа, но под названием «Rzecz o pierwiastkach języka starosłowiańskiego (uzupełniające dzieło Miklosicza)»; по-видимому, речь идет о труде Ф. Миклошича «Radices linguae slovenicae veteris dialecti», Lipsiae, 1845).

Следует отметить, что и значительное по объему и богатое по содержанию полонистическое научное наследие И. Вагилевича, к большому сожалению, до сих пор остается не только неизученным, но и вообще неизвестным широкой научной общественности. В рукописи остались, в частности, работы «Dzieje narodu polskiego od r. 1038 do 1090» в томе «Studia historyczne» (1861) (Вроцлав, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, рукописный отдел, № 2411/I), «Autografy znakomitych Polaków» (там же, № 9871/II), «Pisarze polsey Rusini» (1843) (Львов, Научная библиотека им. В. Стефанника, рукописный отдел, Bar. 32, папка 6).

нументального труда прошли через руки Вагилевича... Вагилевич читал весь текст, сверял приводимые Линде, часто с ошибками, цитаты по оригиналам, и добавлял с опорой на собственную эрудицию то, чего у Линде не было» [4].

В богатой литературе о словаре С. Б. Линде пишется только об отличиях второго издания от первого в целом и, насколько нам известно, до сих пор специально еще не исследовалась работа самих редакторов львовского издания.

Предметом данной статьи является анализ паспортизированной индексом 2 редакторской работы И. Вагилевича, которая затронула все без исключения стороны словаря — его словник, толкования, грамматическую разработку реестровых слов, иллюстративную часть, этимологический аспект словаря и т. д. Учтены, разумеется, также редакторские дополнения и поправки, содержащиеся под тем же индексом в отдельных списках в конце II—VI томов второго издания словаря С. Б. Линде.

В плане поставленной темы, безусловно, значительный интерес представляет обнаруженная автором этих строк в архиве рукописная оригинальная работа И. Вагилевича «Linde pod względem jego stanowiska w filologii», в которой ученый обстоятельно рассматривает теоретические начала (преимущественно этимологический аспект) построения словаря С. Б. Линде и сообщает много интересных частных фактов, касающихся истории подготовки этого лексикографического труда (рукопись готовится нами к публикации).

Рассмотрим последовательно содержание редакторской работы, осуществленной И. Вагилевичем во время подготовки второго издания словаря С. Б. Линде.

I. 1. Иван Вагилевич как редактор расширил словник за счет пропущенных С. Б. Линде слов и их вариантов: Bałkan (к Bałchan), Berberyjczyk (к Barbaryjczyk), budziacki, budziński (к budżacki), cergieie (к ceregieie), czahor, czahar (к czair), czmiel (к trzmiel), Dobrówka (к Dąbrówka), dożynki (к dorzynki), gorze n. (к gorz m.), huszcza (к chuszcz), kiedra f. (к keder m.), kłoba f. (к chłob m.), martalauz (к martahuz, martauz), obroś (к obrosnąć), obżynki (к obrzynek, obzynek), ohurstwo, paj, parznać, parzniać (к parznik), pseczynigi (к pseczyngi), podorożczyzna (к podhoroszczyzna), połowiec, poźreć (к poźrzeć), przyblanka, przycieśniać (к przycześnić), przystań (к przystanie), 2. pud, Radym (к Radzyn), Rohatyn, rohatyniec, Roxolani, rozbrechać (к rozbrechnąć), rozrad m. (к rozrada f.), rozstryha (к rostryha), rozżedz (к rozżegać), rzekotać się, samar m. (к samara f.), 2. Samojedy, sąpierz (к sampierz, szampierz), serbski, serpanka f. (к serpanki pl), 2. sędziak, skorzeń m. (к skornia f.), śledzionnik, śledzienik, sołodusza (к szołodusza), sołtysi (к szołtysi), sparek, Śpicimierz (к Śpitymierz), 2. sprych, stebnówka (к sztembnówka), Swarzędz (к Swarządź), Światopełk (к Swantopolk), świta, Szarogród, szpnać (к szczupać), szkrofuły pl. (к szkrofuł), szlacharek (к szlacharz), 3. szor, szparki (к szparka), 2. szwab, szypik (к szyp), tątonić (к tantonić), telepać, 2. ukrocić, 2. ul, uźrzeć (к urzeć), wełna f. (к weł, wełm, wełm m.), werteb m. (к werteba f.), wzele (к wezele), weźreć (к weźrzeć), wieliki (к wieliczki), wielkook (к wielkooki), wierać (к 2. wrzeć), więzzyć (к więszzyć), 2. winnik, wojen (к wojak), 2. wrona, wtryskać (к wtrysknać), wygonić (к wygnąć), wypłyć (к wypłynąć), wzdrój (к zdrój), wzdy (к wždy), zabie oczka, zaduma f. (к zadum m.), żarzątek (к rżarzew), ząbr (к zubr), zacisański (к zatyszański), żerzatek (к rżerzatek), zwarka (к zwara), zegnać (к zżonać), zżasnać się (к rżzasnać się) — всего 94 слова и варианта. В значительной части случаев И. Вагилевич сопровождает вводящийся дополнительно лексический материал толкованиями, пояснениями, этимологическими комментариями. Например, при слове Bałkan сообщается: «z tureck. balkan ‘mons’. Men. I, 1076, nazwa terażniejsza gór Hemu»; при Berberyjczyk: «mieszkaniec północno zachodniej Afryki, ein Berber, Barbareske; z resztą są tu dwa zupełnie różniące wyrazy»; при budziacki etc: «z Budziaku czyli Bessarabii. Orda Białogrodzka, czyli Budziacka. Czartor. Mskr. Akerman (Białogród) stolica Tatarów Budziańskich w Bessarabii. Wyrw. G. 256. ob. Białogrodzki»;

при czair: «drobne krzaki lub las rozmaitego drzewa; ob. Goszcz. Zam. Kaniowski.; z tureck. ćiair 'pratum'. Men. I, 1355»; при ohurstwo: «Ross. огуpство, огуpливость; zpór, zaciętość, Stüssigkeit, Halsstarrigkeit»; при pieczynigi: «lud turecki, przez historyków zwany Patzinakitami, Bisenami, sam się nazywał Kangor lub Kangli; wszelako jestto tylko szczep tychże Bedźnaki. ob. Hammera-Purgstalla, Gesch. der goldn. Hord. 21» (с текстовой иллюстрацией: Pieczynig grubością ciała, Rusin czerstwością narabiał. Stryjk. 127. ob. Narabiać»; при 2. Samojedy: «z czudz. same 'bagnisty kraj' i jets 'mieszkaniec'; naród właściwy w Rosyi»; при sparek: «drażek, na którym znajduje się ptak wabiący, z niem. Sparre»; при świta: «sukmana, rusk. swyta; Etym. wić; eine Art Tunka»; при 2. szwab: «rodzaj owadu, ein Art Insekten, Blatta orientalis Linn., die Schwabe, boh. švab»; и т. д.

1.2. Местами реестровые слова в заглавиях словарных статей С. Б. Линде по каким-то причинам приводил не в исходных формах. И. Вагилевич указывает исходные формы таких слов, в отдельных случаях сопровождая это комментариями: karpie, iów, plur. [karpieć, cia sing.]⁴; macierz, y, ź. [mylnie, jestto bowiem acc. nominis mać, a nom. maci (Gaw. Siel. 400) lub mać⁵].

1.3. И. Вагилевич исправляет неправильно данные или ошибочно воспроизведенные лексикографом на основании экскерпций начальные формы реестровых слов:

Odźenić... [mylnie urobiony infinit. zam. Odegnąć qu. v.].

Okrainiec, ćca, m., o granicę mieszkający, der Gränznachbar, (cf. Ukraina, Ukraińczyk). Tam dosyć jest mnogiego ludu, jako to Wołyńców, Nizowców, okraińców. Werif pr. [W oryginalne jest: Ukraińców; Linde pomylił się].

Potyj, ego, m., Ruthen. Hippatius... [Błąd: rusk. Potij — Pocij, nazwisko rodziny; Hippatius — Hipacy, imię chrzestne, rusk. Ypatyj].

Pożonać... [infinit. mylnie wyprowadzony zam. pognać]. См. также: przyżonać, żonać, żżonać.

1.4. Такие же коррективы делает редактор и относительно форм, приводимых при реестровых словах:

przegnać, przeżonać, przegnał... [przegnać, f. przeżenie, przegonić, przegoni, a infinit. przeżonać niemasz]...

zegnać, f. zegna cz. dok... [od zegnac f. zżenie nie zegna]. См. также: wygnąć, zagnąć.

Относительно словарной статьи Pozbadnać n. p. Konie obrok ten pozbadły. Chroś. Ow 118? И. Вагилевич пишет: «Przykład przytoczony, w całości brzmi tak: Nie wspomniesz sobie na obżarte owe W Tracyej konie gdzieś Dyomedowe, Które już były obrok ten pozbadły, Że miasto siana ludzkie ciała jadły. Nec tibi succurit crudi Diomedis imago, Efferus humana qui dape pavit equos. Z czego widać, iż tłumacz jedynie dla rytmu użył słowa pozbadnać, zamiast: pozobać, pożuć».

2.0. Внимательное знакомство с обоими изданиями словаря С. Б. Линде свидетельствует, что лексикограф не всегда давал обстоятельные, точные и ясные дефиниции реестровых слов. В первом издании эти дефиниции иногда просто ошибочны, а значительное количество реестровых слов составитель словаря на основании имеющихся в его распоряжении материалов вообще не нашел возможным как-либо объяснить, местами в таких случаях он поставил вопросительный знак. Редакторы второго издания уделили значительное внимание семантической разработке реестровых слов. В этом отношении, как и в других, больше всего сделано И. Вагилевичем.

2.1. Значительному количеству оставленных С. Б. Линде без объяснений реестровых слов И. Вагилевич дал свои дефиниции:

⁴ Здесь и далее в квадратных скобках даются, как и в самом словаре, вставки И. Вагилевича. Его редакторский цифровой индекс (2) опускается.

⁵ Соответствующее исправление И. Вагилевича обнаруживаем и в словарной статье matka, где дается старославянская параллель: [Ecl. мати, accus. мать].

Chłob, a, m. [Kłoba, y, ź. z niem. der Kloben, narząd do łowienia ptactwa. Uczyn budkę małą dla nocnego stawiania, od kłoby na szańc albo na dziesięć. Myśl. ptasz. D. 2. Kłoba ma być żelazna albo drewniana na moc. ib. G. 2].

Dur, a, m. [szał; w tem znaczeniu używa się ten wyraz i w języku ruskim].

Karofiał, u, m. [goździk, greck. *καρόφυλλον* czesk. słow. karafilat; illir. karanfil]...

Magora, y, ź. [tak się zowią góry miernej wielkości lasem okryte, porówn. Włok. méguré].

Pierzga, i, z. ... [pyłek z kwiatu, który pszczoły na tylnych nóżkach znoszą; das Bulnenmehl; rusk. perha; sanskr. paraga]...

Pokotem [adverb. po kolej, nach der Reihe]...

Przeźroczystość [ści, ź., przeźrocze, Durchsichtigkeit].

Rachemberg, a, m. [Henryk pobożny poruczając Haugwitzowi obronę zamku lignickiego, odezwał się: «Haugwiss, räche den Berg!» i od niego biorą początek Rachenbergowie na Szląsku. Hammer-Purgstall, Gesch. der goldn. Hord. 115]...

Sieża, y, ź. [przyrząd szczególnego rodzaju do połowu ryb, eine Vorrichtung zum Fischfange. Русск. област. слов. qu. v.]

Smerda [y, ź., młokos natrętny i zarozumiały, ein naseweiser Gelbschnabel]...

Stebnik, a, m. [podrum na pszczoły podczas zimy, ein Beinenkeller]...

Uszak, a, m. [czopy u drzwi, któremi w biegunach chodzą]...

Как видно из приведенных примеров, дефиниции И. Вагилевича по своим типам различны — это и толкования, и объяснения через синонимы, и обращение к иллюстративному материалу.

Собственные дефиниции И. Вагилевич ввел и при следующих реестровых словах: bistoński, buczacki, cerewizna, chawturnik, cun, dyndera, forgocza, fryza, głuzyć, hońca, kiereszować, kindiak, kolimaga, łasować, mroszczyć, ozdrzemo, paschał, pinoły, podrzepielić, pozakować, przekrój, przemizgać, przysjście, przystajnia, putra, pyrciać, racki, roxolan (roxolanin), roxolanka, rumelec, Ryło, sałamacha, seremski, siewruk, skrzesz, ślera (szlera), solochwalca, śpiańczyć się, sriskać, spleczyć, sprychnie, stanowlenik, strożyny, styg, suspica, świepiet, szewluch, 3. szlak (ślak), szłop, szparka (szparko), szparkość, szredzki, szustmana, tabun, tarnośliwka, tof, traktywa, trztaćzka, tychwa, ułoga, ulowaty, wąpie, wiochna, wielostronny, w zecz (V, 660), wznacać się, zakrulić, zapłodz się, źjarać, zucek, żupa, zwolenny, zwonó, źyczkowy.

2.2. И. Вагилевич исправляет неверные дефиниции С. Б. Линде. В таких случаях свои объяснения редактор ставит преимущественно перед объяснениями автора, при необходимости подкрепляя их цитатами-примерами.

Akafist, u, m. msza Ruska, eine Reussische Messe. [Akafist nie jest msza, ale officyum, składające się z pieśni pochwalnych i modlitw do Zbawiciela, najśw. Panny i Świętych]...

Knysz, a, m. [chleb lub bucht zawierający w sobie ser, mak i t. p., rodzaj pasztetu], klusek, kluska.

Nosacz, a, m. [nom. pr. pułkownik kozaków, z czasów Chmielnickiego]... może nosiciel, Ross. *ношакъ*, t. j, chorąży.

Pajować się recipr. niedok., [dzielić się, sich theilen. W Zwiniackim zapuście pajowali się opryszki, to jest łupy między siebie dzielili. Przy onym tedy paju zachodziły nieporozumienia. Dod. do Czasu z r. 1857, tom VI. str. 707].

Parchawica, y, ź. [rodzaj hub, bofista, lycoperdon bofist.] parchata zaba, ropucha, die Kröte.

Przykłota, y, ź. [wymłócony snop, rusk. przykołotok, porów. kłóć] stramen in usum jumentorum. Cn. Th. 857. słoma dla bydła.

Szabeltas, u, m. [kaleta, ein lederner Beutel] kieszeń szabelna, od pasa szabelnego wisząca... [Kiedy ja się po kalecie uderzę, z któremi na ten czas Polacy chodzili, szabeltasami ich zowiac, to gębę zamknij. Poklat. Kw. 137]...

Wardega, i, m. [zagrodnik, hortulanus, ein Gärtler. Ktorykole wardanzen wstanie ot pana swego niewczas, piącinaście groszy ma dać panu swemu. Mac. z Roż. Stat. maz. w Lelew. Romn. 140] włóczęga, ein Herumtreiber. Tr.

Widowe jezioro, palus Maeotis. Sk. Dz. 185 et 292 et 422. Sk. Żyw. 2, 225, das Assowische Meer. [Mylnie: Owidowe jezioro jest na Budziaku, jak Wołosi nazywają lakulul Owiduluj, ob. Wiszniewsk. Hist. lit. polsk. II, str. VII].

Zachwostać cz. dok., zachwostnąć, losschlagen, anfangen zu schlagen [mylnie: zachwostać oznacza zawiązać koniowo ogon].

См. также: antymis, chuszcza (huszcza), far, inkuba, Kiryk, marcówka, niuń, obnuża, obodziasty, ożarka, ożrzedle, panachida, pandrow, poskromić, przedanie, przedświęty, przystanie (przystań), siraczyny, skik!, ślera (szlera, szlira), sparznać, stychar, stygar (stygiar, sygor), swach, trzciniisko, zajady (zajadki, zajedki) и некоторые другие.

2.3. Редактор уточняет, дополняет, детализирует авторские объяснения реестровых слов.:

Sandał, u, m. ...[rodzaj obuwia składającego się z samej podeszwy], pantofel zakonników, ein Sandal...

Stadnina, stadzina, y, ż. [stado koni dla chowu, eine Stutteren], stado z młodych bydłał złożone, eine Herde jungen Viehs...

Świętógórski, świętohorski, a, ie, od góry świętej [czyli Atos, Graec. ἅγιος ὄρος]...

Syrojeżka, i. ż., bedłka [Honigtäubling, agaricus rusticus] ... Szłyk, słyk, a, m., czapka futrzana coraz węższa ku górze [czapka okrągła w czub z brzegami futrem obramowanemi] ...

Tatry, ow plur. [część Karpat w Sandeck.], Karpak, Krapak, Krępak, pasmo gór między Polską, Węgrami i Siedmiogrodem...

Zapólnica, y, ż., przegrodzenie na płewy i t. d. [deska w zapolu, ein Bret im Scheuerverschlage] ...

См. также: bard, Beściad, bomol, Braclaw, brocz, budzacki (budziacki, budziński), ceregiele (cergie), diasek (didko), dutepasy, egoista, firmarz, Jerzy, korop, łupać (Iupać), maca, mantykora, miennosć, muc, Nalewajko, obod, oboble, ostreği, pacnać, pejs, petyhorca (pietyhorcy), płonina (płonia), płoskoń, pokładać, posileczny, pożarnice, prochówka, przybycień (przybysz), przydbać, przyszarzać, rozsada, rutgiser, sadyba, samoistwo, samopał, sijocha, sierpanka, Sławkow, stark (sterk, sztyrk), suchoręż, Szczurowice, Tarnów, Troja, truzelnik, tumult, uroczyssze и др.

Иногда эти дополнения приобретают вид энциклопедических объяснений (статьи Wołga, wołynianka, Zgorzelec).

Важно отметить, что большинство дефиниций реестровых слов, внесенных И. Вагилевичем во второе издание словаря С. Б. Линде, в неизменном или частично модифицированном виде было перенесено в так называемый Варшавский словарь [5].

2.4. И. Вагилевич отмечает ошибочность объединения С. Б. Линде паронимов в одной словарной статье (как разных вариантов одного и того же слова):

Krótkość, krotosć... [sa to dwa różne zupełnie wyrazy; pierwszy znaczy kratyкъ, kurz, drugi krotyкъ, sanft]...

Sajan, u, m., sagaj, ju, m. ... suknia żołnierska... [Sagaj u Malajów rodzaj sztyletu; i wyraz ten tu nie należy].

См. также: alsacki, alzacki, alsacyjski, olsacki, holsztyński; późnić, późzić.

2.5. Омонимы, ошибочно квалифицированные С. Б. Линде как одно полисемичное слово и данные в одной словарной статье, И. Вагилевич разделяет в отдельные словарные статьи и, где необходимо, дает разработку нового реестрового слова, соответственно разделяя и имеющийся иллюстративный материал: 2. pud, 2. Samojedu, 2. sędziak, 2. sprych, 3. szog, 2. szwab, 2. ukrocić, 2. ul, 2. winnik, 2. wrona (ср. 1.1).

2.6. Редактор выделяет незамеченные С. Б. Линде отдельные значения реестровых слов и соответственно распределяет иллюстративный материал.

Zapole, a, n., §. 1) miejsce zapolem; Ross. заполье, der Ort hinter dem Felde... [§. 2) Zapole, przegroda w stodole; Verschlag in der Scheuer...]... См. также: bania, bański, oman, pasza, pikart, płonina, płyta, stan, ujści, wartki, zolza, żrok, żuk, zwoleństwo, zwolić и др.

2.7. В ряде случаев И. Вагилевич выделяет не отмеченные С. Б. Линде переносные значения реестровых слов:

Slera, szlera, szlira... [§. Transl. W hucie śklannej, jakoby krople dżdżowe w tygle na materyą częstokroć spadają; te krople hutnicy zowią szlirami або wrzodami. Torz. Śkl. 74. Blasen, Schwären, ob. Wrzód].

Wartny, a, e, wartem płynący, dahin strömend ... [Transl. Wartny, kręty, przebigły; schwindlerisch, dreherisch, ob. Wartki]...

См. также: gumelec sączek, sałamacha, stojak, strafić, szewluch и др.

3.0. Значительную работу при редактировании второго издания словаря С. Б. Линде осуществил И. Вагилевич и с иллюстративным материалом.

3.1. В ряде случаев, где С. Б. Линде словарные статьи оставил без цитат-примеров, И. Вагилевич добавил их:

Poklwać cz. dok., dziobem pokłóć... [Kiedy zórawie polecą za morze, Nie bywaj często Pawełku na dworze, Aby na tobie nie poklwali skóry. J. Kchn. Fr. 14].

См. также: poźdać, rozdzierca, tabun.

3.2. Редактор ввел ряд цитат, которые сами являются своеобразными дефинициями реестровых слов:

Płonina, y, ż., płonia, i, ż... [Miejsca górne lub też w równi, bywają niepłodne, kiedy zbyt suche i słone, a te płoninami або słońiawami zowią. Gresc. 136, ob. Słoniawa].

Płoskoń, płoskuńka, płoskońka, i, ż... [Konopie są dwojakie, które dochodzą wcześniej zowią się płoskonią (Fimmel) drugie nie kwitnąc dają nasienie, i są maciorami або głowatkami (Saathanf). Ład. H. N. 76. ob Konopie]...

См. также: rachmistrz (rechmitrz) и др.

3.3. Для более обстоятельной, точной и разносторонней характеристики употребления реестровых слов И. Вагилевич в ряде словарных статей имеющийся иллюстративный материал пополнил одной или несколькими цитатами. См., в частности: martahuz (martauz, martalaуз), płeć, posiłek, posiłeczny, rodał, róg, sałamacha, samar (samara), serpanka, sparek, sparznać, śpila (szpila), stark (sterk, sztyrk), szater, trząsca, wapie wielbłąd (wielbrąd), wieliki, wzdy, żyła и др.

3.4. В нескольких случаях редактор отмечает несоответствие помещенных С. Б. Линде цитат реестровым словам, так как в цитатах фактически употреблены другие слова, а если и те же, то с другими значениями:

Zarąbić ... zacząć rąbać, rąbiąc zaciosać ... Xiążęta Litewscy Koryatowice, Kamieniec i insze zamki Podolskie zarąbili, a do W. X. L. przyłączyli. Stryjk. 584. wysiekli, wyniszczyli. [Mylnie, ponieważ wyraz rąbić ma tu znaczenie starorusk. rubiti 'budować'].

См. также: szutnić, ułapka.

3.5. Иван Вагилевич дал объяснения значений отдельных имеющихся в цитатах слов, что способствовало более обстоятельному пониманию словарной статьи в целом и значения реестрового слова в частности:

Gędźba, y, ż., muzyka ... Nic tu nie biędzie, Choć Orland gędzie, I Balcarek nuci. Kochow. 172. [Balcarek, sławny dyszkancista w Wiedniu. ob. Barącz. Pamiętn. str. 32].

Wołoski (wałaski), a, e, od Wołoch czyli Wołoszczyzny ... Wałaskie wsi płacić mają po 20 groszy. Vol. Leg. 2, 664. ib. 3, 50 [osady na prawie wołoskim założone]...

См. также словарные статьи: borzobohaty, brala, gnus, miód, Nalewajko, oko, ożarka, ożrzedle, podrzepielić, powabnik, przewłoka, ratuszowy, rozpachać, rozwieliczyć, strach, szodzel, szumny, trawić, tutki, warkocz, wawrzyniec, wrzecienica, wywartować, zakluczyć, zaszczereć, zawiezać, zlegować, zrok и др.

3.6. Сравнительно часто И. Вагилевич дает объяснения употребляемых в цитатах грамматических форм слов, в частности устаревших форм (например, дв. числа), которые для рядового читателя могут быть не совсем понятными:

Powrosło, a. n... Gdzie w kopach dziesięcinę oddawają, tedy powrosło, którym snopy wiążą, ma być długie na dwa łokcia [dual.], a to kiedy oziminę wiążą. Szczerb. Sax. 126.

Zjeść ... Mówiła mi: daj syna twego, a zjemy go dziś, a syna mego zjewa [dual.] jutro; a tak uwarzyłyśmy syna mego, i zjedławsza; i rzekłam k niej nazajutrz: dajże syna twego, że go zjewa. Budn. 2. Reg. 6, 29...

См. также словарные статьи: oko, ostrzek, pani, pies, pomrzeć, puścić, siatka, spodziać, sukno, szczodroблиwość, szyja, włóczębny, zgrzytnąć и др.

3.7. Местами редактор отмечает допущенные С. Б. Линде ошибки при написании отдельных слов в цитате.

Wiątek, tku, m... Magrabstwo Brandeburskie z wiałtku Polaków urosło. Krom. 488. [Powinno być: wziętku].

См. также словарные статьи: oburzliwość, szynwaga, tołpa и др.

3.8. Встречаются замечания относительно графики отдельных слов в цитатах:

Wajścić, cz. dok. wyistoczyć, istotnie uskutečnić, wyrzetelnić, wypełnić... Co wojewodowie postanowią, to starostowie niech wygiszczają. Hebr. Stat. 181, [według czeskiej dawnej pisowni g = j].

4.1. Во многих случаях редактор дополняет и уточняет грамматическую разработку реестровых слов, объясняет их морфологические особенности и пр.:

Dutepasy, n. p. [ow, plur.]...

Gauda, y, ż. [właściwie m.]...

Równien, f. równa, n. równe [Genit. masc. et neutr. równia] ...

Służący, służąca [Subst. służa]...

Stareńki, a, ie [dem. Adject. stary, bardzo wiekowy, sehr alt]...

Stareenny, a, e [augm. Adject. stary...]...

Tumult [u, m...] ...

Wrzeć [cz. dok., wierać częstl...]... и др.; см. также другие разделы.

5.1. И. Вагилевич вводит ряд комментариев относительно словообразования реестровых слов.

Hołoweńka... [demin. secund. nom. hołowa = głoweczka].

Tosieńka [i, ż., blande Antonina, Antosia], ob. Dosieńka [Dorota, tu nie należy].

Wysonować cz. dok [według niem.] (Вероятно, имея в виду нем. aussonnen).

Zamatorzały, zamotrzały, a, e [part. Verb zamatorzeć; Eccl. замоторѣти, senescere; zastarzały]. Кстати, глагола zamatorzeć в словнике нет.

Zucek, cka, m. [dem. nom. Żuk qu. v. z mazurska]... [nazwa czarnych wołów].

Замечания редактора относительно словообразования реестровых слов см. и в словарных статьях: poszerewie, prozapas, serb (syrb, sorab), swaszka, wid, wużygot и др.; см. также другие разделы данной статьи.

6.0. В славянской лексикографии в целом словарь С. Б. Линде был первым, где широко практиковалась этимологическая разработка реестровых слов: приводились параллели из других славянских и неславянских языков, указывались источники заимствований и пр. И. Вагилевич очень много сделал и для усиления и расширения этимологического аспекта во втором издании словаря С. Б. Линде.

Следует заметить, что проблемами этимологии и истории языка, заимствований и межъязыковых контактов И. Вагилевич широко и плодотворно занимался еще в начале 40-х годов XIX в. Так, в его многоплановой монографии «Rozprawy o języku południowo-ruskim» (1843), которая, к сожалению, осталась в рукописи⁶, имеется довольно большой раздел

⁶ Хранится в рукописном отделе Библиотеки АН СССР в Ленинграде (Собран. Петруш. № 22). Описание этой монографии сделал М. Возняк [6].

«Żywioły obse», где рассматриваются большие группы тюркских, румынских, польских, германских, латинских, греческих, венгерских и других заимствований в украинском языке ⁷. Много внимания вопросам этимологии уделял И. Вагилевич и в своих славистических, романтических (о которых см. [8]) и других исследованиях. Таким образом, в 50-е годы, когда осуществлялись редактирование и публикация второго издания словаря С. Б. Линде, И. Вагилевич уже имел солидный опыт в области этимологических исследований, был хорошо знаком с литературой, появившейся после 1814 г., т. е. после выхода в свет первого издания словаря С. Б. Линде, в частности, с работами П. Шафарика, Ф. Миклошича и других авторов.

Следует, впрочем, заметить, что И. Вагилевич в своих этимологических редакторских вставках нередко не различает непосредственные и конечные источники заимствований.

6.1. Во второе издание словаря С. Б. Линде И. Вагилевич внес значительное количество этимологий реестровых слов, например:

Multany ... Moldawia ... [Moldawia, rzeczona od rzeki Moldawy z stolicą Jasami dawniej Soczawą; Multany, ziemia muntańska, zwana tak od gór, łaćnińsk. montes, wołosk. munti; u południowych Słowian zowie się zapłanińską (zagóską), ze stolicą Targowiszczem teraz Bukaresztem. Poplątanie nazwiska tych obu prowincyj wołoskich stało się powodem niemało bałamuctwa].

Słoń, ia ... [Etym. słońce Kopit. Glag. 82].

Sulica, y, ż ... [Etym. synąc] ...

Syberya, y, ż., Sybior, u, m ... [od dawnej stolicy rzeczona] ...

Zaszczawić cz. dok ... [Etym. szczaw, cf. szczawa kwaśna woda] и др.

И. Вагилевичем даны соответствующие пометы при польских словах, квалифицируемых им как заимствования различного происхождения: латинские — *cerbela*, *cerkiew* ⁸, *cyна* ^{*}, *kawerna*, *łachanek*, *paschał*, *perka*, *persona*, *pyra* (nog 2. perz), *skroń* ^{*}, *soda* ^{*}, *strum* ^{*}, *turbacya*, *turbator*, *wibracya*; средневеково-латинские — *almuzya*, *androny*, *bakar*, *kofia*, *manizować*, *tenda*; греческие — *falanga*, *karafiał*, *kondak*, *tropar*; греко-латинского происхождения — *iba*, *linkur*, *orob*, *ozenny*, *syrtla*, *tenar*; древнееврейские — *Icyk*, *kusz* ^{*}, *mamzer* (*mamżer*), *skarb* ^{*}; немецкие — *gzynek*, *kłoba*, *rodał*, *sergiel*, *sparek* ^{*}, *śpila* (*szpila* f., *śpil* m.), *stebnowka*, *strengiel*, *szargant* (*szargart*, *szargarz*), *szłop*, *szyber*, *taras* (*taraz*) ^{*}, *Tejs*, *trybus*; скандинавские — *ciwun* (*tywum*, *tymon*), *Kunilia*; готские — *kniaż* (*kneż*), *pieniądz*, *3. szlak* (*ślak*), *śkło*; румынские — *bryndza*, *cap*, *gazda* ^{*}, *karawusz*, *nietota* ^{*}, *putra*; французские — *bagaż*, *bawet*, *bawolet*, *dutepasy*, *gallioty* ^{*}, *gamoń* ^{*}, *gat*, *kujan* (*kojon*), *otara* ^{*}, *rechot*, *tor* ^{*}, *trop* ^{*}; итальянское — *bistur* (*bistor*); чешские — *giczel* ^{*}, *kliszawy* ^{*}, *krzynów* ^{*}, *obel*, *przewał*, *szyp* ^{*}; украинские — *czerhi* (*czerho*), *Gawryło* (под *gawron*), *harować*, *herasz*, *hetł*, *hołowa* (под *wszy*), *holoweńka*, *horno*, *horod*, *horodoway*, *horować*, *hunać*, *horylica*, *horyłka*, *kuźelny*, *niebylica*, *popuda*, *posupić* (под *posępić*), *rabiec*, *rasa* (*rasz* 'habit mniszy'), *rostryha* (*rozstryha*), *rozdól* ^{*}, *rubel*, *sadowina*, *Sałacha* (*Sałocha*), *starennny*, *ciatcy*, *szuty* ^{*}, *telepać*, *teper*, *tołokno*, *truta*, *tuda*, *tułki*, *tużyć* (под *tażyć*), *woroszyć*, *wyrozub*, *zezula*, *żehało* ⁹; русское — *osudar*; старославянские — *obida* ^{*}, *pakość* ^{*}, *rozwieliczyć*, *skrowiszczce*, *szcząd* (*szcząt*, *szczęt*) ^{*}; литовские — *burtnik*, *chawturnik*, *żuława*; венгерские — *bania kopalnia*, *Erdelje* (под *rdza*; венг. топоним *Erdély* 'Трансильвания'), *forga*, *łogosz*, *ragera*, *Tysza* (название реки, пол. *Cisa*); тюркские — *aga*, *arkan*, *arszyn*, *bada-*

⁷ Об этом разделе М. Возник говорят лишь буквально в нескольких строчках [6, с. 287]. Подробнее см. [7].

⁸ Здесь и далее звездочкой (*) после слова отмечены слова, происхождение которых теперь объясняется по-другому. Слова, этимология которых остается неясной или спорной, звездочкой не отмечаются. Из-за экономии места иноязычные сопоставления, этимологические и другие комментарии И. Вагилевича опускаются.

⁹ С точки зрения исследования лексических украинизмов в польском языке и вообще польско-украинских языковых взаимосвязей эти редакторские дополнения И. Вагилевича, существенно расширившего в целом информацию об украинских параллелях, представляют безусловный интерес.

wija, bałahan, bastram, bik, Bałchan (pl. Bałchany, Bałkan, Bałkany), ban, bojar, borsuk, bugaj (buhaj), bułat, burka (bureczka), cymbury, czahar (czahor), czechczery, gap, gara, 2. gas, hamał, hoży (choży), kajdany, karbuz, kawon, kołpak, komysz, kurchan (kuran, kurhan), machran, martahuz (martauz), muchair, otak, podruna, sagan, 2. sędziak, sepet, szorba, szysz, taca*, taśma, tuł*, włus; персидские — sarafan, sobaka, szach; арабское — almanach*; кельтское — bałwan*; «чудское», т. е. прибалтийско-финское — szmaga.

6.2. Нередко И. Вагилевич вносит коррективы в этимологии С. Линде: Czarnoresza, cernoressa, у, ź., zakonniczy ubiór, habit, z Ross. риза 'szata' i черный (zład Ross. черноризець 'zakonnik')... [Pierwiaskiem tego wyrazu jest риза 'habit mnisi'; риза 'suknia', tu nie należy]...¹⁰.

Ogier, a, m... z Tur. [ajghyr Men. 474], ogür...

Rozkrzewić cz. dok., rozkrzewiać niedok., (Etym. [krzew], kier)...

Skowyczeć... (Etym. [kwik], wyć)...

Strzemię, ienia... (Etym., [trzić], trzymać)...

Разного рода этимологические замечания даны И. Вагилевичем также в словарных статьях: moskał, pałka, pęcak (pęczak), praźnik, Prusy, przelisz, Rakusy, rozrada, rostryha, ście, skot, Słowak (Sławak, Słowianin, Sławin, Sławon), smerd, sól, szarańczany, szczenie, Trzebnica, trzeć, Wojciech, zasapać, żupan и др.

Конечно, с точки зрения современной науки в этимологических комментариях И. Вагилевича встречаются неточности и ошибки, например: Skot, u et a, m... [Etym. kocić; rusk. kotyty=toczyć]...

6.3. Этимологический аспект второго издания словаря С. Б. Линде И. Вагилевич заметно усилил и путем введения многочисленных внешних параллелей и соответствий. По нашим подсчетам, И. Вагилевич добавил в целом свыше 370 соответствий, в том числе около 120 старославянских, около 60 украинских, свыше 40 русских, свыше 20 польских (и старопольских), свыше 20 чешских, свыше 20 немецких, 6 готских, 11 литовских, 10 румынских и т. д.

В качестве примера отметим несколько приведенных редактором украинских соответствий: garb — укр. horb, glicza — укр. hlyca, grzęda укр. hriada, ozieroda — укр. ożeroda¹¹, płonina, płonia, — укр. połyna, skródlic — укр. skorodytu и др.

При узко локальных украинских диалектизмах И. Вагилевич отмечает их место употребления: koftyt, kofter — укр. гуцул. kiptar 'bunda', pocwid 'nietopierz' — укр. волин. niczwyd 'id.', tajszka — укр. карп. taszka 'tobola, wełniana torba'.

Проведенный анализ свидетельствует, что И. Вагилевич как один из редакторов второго издания словаря С. Б. Линде квалифицированно осуществил значительную по объему (значительное число словарных статей расширилось во втором издании сравнительно с первым во много раз за счет дополнений И. Вагилевича — см. например, fołka, poźdać, sąpierz, szur, tabu и др.) и многоплановую по содержанию работу, чем заметно способствовал совершенствованию этого, безусловно, выдающегося в истории польской лексикографии и вообще в истории польской культуры труда.

Рассмотренная здесь редакторская работа, обнаруженная рукопись «Linde pod względem jego stanowiska w filologii», а также попутно упомянутые в этой статье другие рукописные полонистические работы И. Вагилевича раскрывают еще одну, до сих пор почти неизвестную, область его многогранной научной деятельности. И. Вагилевич, без сомнения имеет большие заслуги в полонистике. В интересах истории славистиче'

¹⁰ Ошибку С. Б. Линде повторяет Варшавский словарь [5, t. I, s. 372], однако «Słownik polszczyzny XVI wieku» исправляет этот недосмотр: czarnoresza, cernoressa... (z ros. черная риза) [9].

¹¹ Огласовка ст.-пол. и диал. ozieroda f., ozierod m. и дериватов ozierodny, ozierodżina убедительно свидетельствует о белорусско-украинском происхождении. Варшавский словарь [5, t. III, s. 925] ozieroda квалифицирует как украинизм. Подробнее см. [10].

скої науки, історії польсько-українських научних зв'язей рукописне полоністическе насліддя І. Вагілевича достойно спеціального вни-мательного изучення.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Grzygorczyk P.* Index Lexicorum Poloniae. Warszawa, 1967, s. 18—20.
2. *Bielowski A.* Przedmowa.— In: Linde S. B. Słownik języka polskiego. T. I. Lwów, 1854, s. 1—14.
3. Encyklopedia powszechna. T. 26. Warszawa, 1867.
4. Tygodnik illurowany, t. XIV, 1866, № 357—358, s. 56.
5. *Kartowicz J., Kryński A., Niedzwiedzki W.* Słownik języka polskiego. I—VII. Warszawa, 1900—1927.
6. *Возняк М.* Розвідки Івана Вагілевича про українську мову.— В кн.: Возняк М. У століття «Зорі» Маркіяна Шашкевича (1834—1934). Нові розшуки про діяльність його гуртка. 4. II. Львів, 1936, с. 258—324.
7. *Дзендзелевский И. А.* И. Н. Вагілевич о венгерских и других иностранных наслоениях в украинском языке.— В кн.: Исследование финно-угорских языков и литератур в их связях с языками и литературами народов СССР. (Тезисы докладов всесоюзного научного совещания финно-угроведов. Ужгород, 27—30 октября 1977 г.) Ужгород, 1977, с. 22—23; *Дзендзелевский И. А.* І. М. Вагілевич — перший дослідник іншомовних запозичень в українській мові.— В кн.: Регіональні традиції ва ўсходнеславянскіх мовах, літературах фольклору. Тезісы докладаў ПІ рэспубліканскай навуковай канферэнцыі 25—26 верасня 1980 г. Гомель, 1980, с. 113—114; *Дзендзелевский И. А.* Українсько-польський фразеологічний словник Івана Вагілевича.— *Studia z filologii polskiej i słowiańskiej*, t. 18. Warszawa, 1979, s. 177—184.
8. *Semcinsky S. V.* Un dictionar românesc din prima jumătate a secolului al XIX—lea în Ucraina. In: XII^e Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes. Rapports et communications, 1968, p. 132—133; *Семчинский С. В.* Элементы венгерского происхождения в «Дакийском словаре» Івана Вагілевича.— *Slavica*, t. X. 1970, p. 115—121.
9. Słownik polszczyzny XVI wieku. T. IV. Wrocław, 1969, s. 11.
10. *Дзендзелевський Й. О.* Рефлекси прасл. діал. *zerdmę, *o(b)zerdъ, *ozordъ, *(b)zordъ та ін.— *Slavia*, роç. 47, 1978, s. 267—278.



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1932, 358 с.

В последнее десятилетие заметно активизировались исследования слабо разработанных вопросов ранней славянской истории и особенно этнических проблем. Были опубликованы сборники статей, где затрагивались частные, весьма любопытные аспекты этносоциальной и этнокультурной истории славян, их этногенеза, формирование раннефеодальных народностей [1—3]. Эти сборники со всей очевидностью показали необходимость дальнейшей разработки поставленных вопросов, развития, а подчас и уточнения некоторых положений. Можно с удовлетворением констатировать, что в рецензируемой монографии впервые в советской историографии подвергаются глубокому теоретическому осмыслению сложные и многогранные этнические процессы у славян. Среди авторов труда историки и лингвисты: В. Д. Королюк, Г. Г. Литаврин, Е. П. Наумов, Б. Н. Флоря, А. И. Рогов, Г. Э. Санчук, Я. Д. Исаевич, В. В. Иванов, Н. И. Толстой, Л. А. Гиндин, В. Э. Орел.

На первый взгляд может показаться, что в историко-этнической славянской проблематике вопрос о самосознании славян носит узкий характер, однако на деле он является ключевым в изучении процесса возникновения и образования народностей. К настоящему времени в науке бесспорным стал тезис, что среди многих признаков народности именно ее этническое самосознание является доминирующей чертой, определяющей отличие данной народности от другой и от всякой иной человеческой общности [4]. И авторский коллектив поставил задачу в историко-сравнительном плане изучить процесс становления этнического самосознания в славянском мире, определить этапы развития, общее и особенное, начиная с появления известий о славянах в письменных источниках, и до оформления раннесредневековых феодальных народностей. Эта задача тем более важна и интересна, что формирование славянских народностей совпадает с периодом разложения родо-племенного строя и становления раннефеодальных славянских государств. Нет нужды доказывать, насколько трудно, а порой невозможно четко определить ход социально-экономического, политического и культурного развития славянского общества без учета

взаимосвязи, взаимовлияния социально-политических и этнических процессов. В рецензируемом труде установление такого рода связей занимает, пожалуй, главное место.

Авторы рассматривают вопросы формирования самосознания таких народностей, как болгарская, великоморавская, древнерусская, чешская, древнепольская, хорватская, древнесербская, полабских славян. Каждой из них посвящена отдельная глава. Такая структура дает возможность сделать сравнительный анализ приводимых исторических феноменов, их обобщение.

Размеры рецензии не позволяют подробно остановиться на характеристике каждой из глав книги, поэтому выделим лишь некоторые существенные проблемы.

Наиболее отчетливо самосознание этноса проявляется в письменных источниках. Авторы всех глав уделили анализу письменных памятников самое пристальное внимание, порой по-новому интерпретируя давно известные факты и термины. Одновременно широко используются данные археологии, лингвистики, этнонимии, топонимики, сравнительные материалы письменных сообщений о славянах от соседних народов. Все это позволило выявить черты сходства в становлении славянских раннефеодальных народностей. Они определялись, как вытекает из приводимых данных, общими закономерностями социально-экономической и политической эволюции славянского общества, переходом от строя военной демократии к раннефеодальным государственным формам, а в этнической области — от племенных союзов к раннефеодальным народностям. Рельефно показаны особенности форм и темпов указанного процесса по отдельным районам, причины этой специфики. Отсюда одно из больших достоинств монографии: историко-сравнительный аспект пронизывает все ее содержание. Теоретические проблемы рассматриваются не отвлеченно, а на большом конкретном фактическом материале.

Проделана скрупулезная работа по объяснению происхождения племенных наименований. Основная их часть, согласно заключениям исследователей, являлась этнонимами, т. е. самоназваниями, а самоназвания, как известно, высту-

пают одним из доказательств наличия самосознания их носителей. Не вызывают возражений гипотезы о возможности преобразования некоторых этниконов (название этнической общности представителем другого народа) в этнонимы (например, название «анты») и констатация глубоких изменений в этническом самосознании славян по мере прогрессирующей дезинтеграции былой общеславянской общности. Авторы всех глав единодушны в наблюдениях и выводах об иерархии этнического самосознания славян, его усложнении по мере оформления народностей. В частности, показано, что если на раннем этапе славянской истории на всех территориях преобладало узкоплеменное и общеславянское самосознание, то в дальнейшем их значение снижается и на первый план выступает промежуточное звено — союзно-племенное самосознание. И в данном случае делается попытка объяснить конкретными причинами многообразие ступеней иерархической структуры этнического самосознания. Так, в главе 10 о полабских славянах подчеркнуто, что замедленные темпы этносоциальной консолидации у полабов определили особую сложность их самосознания. Многие группы полабских славян сохраняли до X—XI вв. и узкоплеменное самосознание (у членов каждого племени, входившего в состав сорбов, вилльцев, ободритов), и союзно-племенное (сорбское, вилльцкое, ободритское), и самосознание регионального (полабского) единства, и общеславянское самосознание.

Обстоятельно характеризуются факторы, влиявшие на формирование этнического самосознания: общность происхождения и исторических судеб, единство территории, языка, культурного уклада, вероисповедные представления и т. д. Исследования этнографов, историков показывают, что в древности и в раннее средневековье этническая общность в сознании людей часто получала религиозную мотивировку. Осознание принадлежности к определенному этносоциальному организму отчетливо сочеталось с представлениями о верности почитаемым в данной области божествам. Потому можно отметить выделение в каждой из глав сюжета о взаимовлиянии религиозных и этнических представлений в ходе формирования народностей, в частности, роли христианской религии. Во всех главах окончательное оформление этнического самосознания славянских народностей связывается с принятием и утверждением христианства, «поскольку именно распространение христианства и его победа с активной помощью центральной государственной власти послужили решающим фактором преодоления в сознании поданных пережитков племенного партикуляризма и создания вероисповедного единства в масштабах всего государства» (с. 263), т. е. стабилизации того компонента этнополитического самосознания, с образованием которого в целом завершается процесс становления раннефеодальных народностей.

Значительное место отведено в книге отражению влияния на этот процесс формирующихся раннефеодальных госу-

дарств. Именно государство, как это вытекает из приводимых фактов, обеспечивало воздействие необходимых для консолидации народности явлений: стабильность территории, ее оборона от иноземного натиска, единство аппарата власти, утверждение общности социально-политической структуры и вероисповедания, единство системы эксплуатации и участие масс населения в общественных работах, утверждение общих норм права и правопорядка, информационные связи и т. д. Недаром самосознание оформляющейся в эту эпоху народности порой почти неотличимо от понятия подданства и сливается с ним (с. 259). Отмечается «кризис старых форм племенного самосознания». Центральная власть в ходе объединительного процесса и ликвидации разобщенности племенных княжений вела курс на формирование единого самосознания через утверждение понятия общего государственного подданства.

Интересные соображения по проблеме этнического самосознания высказывают лингвисты. В главах 2, 11 они анализируют отражение уровня и характера этнического самосознания в языковых процессах, в частности, диалектные членения славянской языковой общности и возможные соотношения отдельных диалектных групп с этническими общностями. В главе 12 особо выделяется вопрос о соотношении таких факторов, как древняя славянская письменность и становление этнического самосознания у славян. Автор этой главы Н. И. Толстой вполне доказательно резюмирует, что возникновение славянской письменности повлекло за собой возникновение древнеславянского литературного языка и, безусловно, способствовало укреплению межплеменного самосознания. В то же время, по словам автора, «славянская письменность дала импульс для развития народностей и народов славянских, для развития народного (национального) самосознания и народной (национальной) литературы путем отпочкования от общеславянской литературы и письменности» (с. 246).

Хотелось бы отметить лаконичную емкость обобщений и выводов в заключительной части монографии (авторы заключения — В. Д. Корольюк и Г. Г. Литаврин). Несомненно, что попытка авторов расчлнить процесс формирования этносоциальных славянских общностей на три последовательно сменяющих друг друга этапа, характеристика каждого из этих этапов обратит на себя внимание специалистов по славянской раннефеодальной истории.

Салимон А. Н.

ЛИТЕРАТУРА

1. Исследования по истории славянских и балканских народов. М., 1972.
2. Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976.
3. Формирование раннефеодальных славянских народностей. М., 1981.
4. Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М., 1983, с. 173 и сл.

Чешско-польский фразеологический словарь

Число славянских фразеологических словарей в последнее время растет пропорционально развитию теоретических исследований по фразеологии. Одноязычные словари русской, украинской, белорусской, польской, словацкой, болгарской и сербохорватской (хорватско-сербской) фразеологии, серия словарей двуязычных (русско-украинский, болгарско-русский, русско-болгарский, русско-сербо-хорватский и др.) значительно расширили представления о фразеологическом фонде славянских языков. Чешская фразеология в этом отношении продолжала оставаться лексикографической Золушкой, поскольку и собрание народных поговорок Я. Заоралека [1], и русско-чешский фразеологический словарь М. Мартинковой [2] уже устарели и методологически весьма отходят от требований современной фразеологии. Именно поэтому «Чешско-польский фразеологический словарь» М. Басая и Д. Рителя можно смело назвать первым современным двуязычным словарем чешской фразеологии.

Общий объем словаря — около 5 тысяч фразеологических единиц (далее ФЕ). Это достаточно солидный по охвату материала источник чешской фразеологии: наиболее полный фразеологический словарь русского языка под ред. А. И. Молоткова, например, включает лишь 4 тыс. ФЕ. При отборе материала авторам пришлось проделать весьма сложную работу: имеющиеся академические толковые словари и уникальное собрание чешской народной фразеологии Я. Заоралека изобилуют идиоматикой (в последнем, например, — свыше 20 тыс. ФЕ), а проблема частотности и стилистической актуальности фразеологии практически не разработана. Поэтому, отбирая материал, авторы во многом руководствовались собственной языковой интуицией, ориентируясь прежде всего на литературно кодифицированные единицы и на их представленность в академическом словаре чешского языка. И надо сказать, что эти критерии в целом позволили отобрать материал вполне объективно.

Известно, какие острые споры ведутся фразеологами о сущности ФЕ, о границах фразеологии и о дефиниции фразеологизма. Авторы избрали здесь практичное и целесообразное решение — они отказываются от фиксации в словаре таких устойчивых составных единиц, как пословицы, цитаты, афоризмы, поговорки и под., и сосредоточивают свое внимание на чешской идиоматике, которая действительно и семантически, и структурно-синтаксически достаточно четко отличается от оборотов выпензаванного типа.

Порядок расположения материала в словаре — стержневой: ФЕ группируются вокруг слова (обычно существительного), которое является носителем основного переносного смысла ФЕ.

Конечно, далеко не всегда с определенностью можно разграничить стержневой компонент от нестержневого, но тем не менее такое решение представляется верным, особенно в словаре двуязычном. Именно здесь стержневое расположение позволяет показать системные связи ФЕ¹. И в словаре М. Басая и Д. Рителя такое расположение позволяет описать не только переносное значение ФЕ, но и коннотативный потенциал слов, их образующих. Порядок компоновки материала внутри стержневой вокабулы, правда, еще требует дальнейшего совершенствования, ибо не всегда можно оперативно отыскать нужную единицу.

Авторы тщательно учитывают морфологическую специфику и синтаксическое окружение ФЕ. При отражении грамматической формы фразеологических компонентов они ориентируются на наиболее частотные и устойчивые формы, а не стремятся искусственно «выводить» мнимые исходные грамматические прототипы, как это делается в некоторых фразеологических справочниках. В словаре сделана и удачная попытка фиксации наиболее типового синтаксического окружения ФЕ, хотя М. Басая и Д. Ритель в полной мере сознают лабильность синтаксических границ устойчивых сочетаний. Здесь польским богемистам также помогает прекрасное знание чешского языка и богатый традиций чехословацкой лексикографии. Внимательно отнеслись авторы и к отражению такого свойства ФЕ, как вариантность различного типа.

Семантическая квалификация фразеологии в словаре осуществляется двояко: сначала (под описываемой ФЕ) дается краткое толкование оборота на чешском языке, а затем — с правой стороны вокабулы — польский эквивалент либо (в случае его отсутствия) толкование на польском языке. Конечно, можно оспаривать целесообразность такой «дублированной» семантизации, ибо первое толкование более необходимо посетителям чешского языка, чем польскому читателю, и, кроме того, излишне упрощает семантические и стилистические свойства ФЕ. В то же время наличие чешского толкования служит своего рода «семантической страховкой», и вдобавок частично оправдывается учебными целями словаря, которые подчеркивают авторы.

Положительной стороной словаря является и стремление квалифицировать описываемые единицы с точки зрения функционально-стилистической. В теории и практике фразеологии именно стилистическая классификация ФЕ является одним из наименее разработанных аспектов — не случайно многие фразеологи (например, А. М. Молотков в вы-

¹ Это весьма убедительно продемонстрировал в своей последней монографии А. М. Бушуй [3].

шедшем под его редакцией словаре) вообще отказываются от такой классификации на том основании, что подавляющая масса ФЕ относится к разговорному, а не нейтральному пласту речи. Двухязычный фразеологический словарь без подобной классификации обойтись не может, ибо одни эквиваленты не могут отразить исчерпывающе ни всех «добавочных смыслов» ФЕ, ни его стилистических модуляций. Именно поэтому опыт стилистической характеристики чешской фразеологии в данном словаре несомненно поучителен для фразеографов.

Эта характеристика производится за счет различных стилистических помет-квалификаторов, которые распределяют ФЕ, с одной стороны, по функционально-стилистической оси (книжные, архаичные, разговорно-обиходные, диалектные), с другой — по эмоционально-экспрессивной (экспрессивные, пейоративные, иронические, сленговые, вульгарные и под.). Такие квалификаторы, правда, даются далеко не всегда, но здесь трудно упрекнуть составителей, ибо разнородность в этом отношении характерна даже для такого во многом образцового издания, как четырехтомный словарь чешского литературного языка, на который они в первую очередь и ориентировались².

Вместе с тем нельзя, к сожалению, не отметить тех случаев, когда при отсутствии помет авторы нарушают стилистическое равновесие при подборе эквивалентов для чешских ФЕ. Так, устойчивое сравнение *je starý jako Abrahám* (и его «одностержневой» фразеологической синоним *ramatuje Abraháma* об очень старом человеке [с. 9]) передается на польском языке сравнениями *jest stary jak grzyb, jak mumia egipska, jak świat*, которые имеют иную семантическую тоналность. В этом случае можно было бы, с одной стороны, изменить оценку стилового потенциала чешских ФЕ в сторону «книжности» (ср. обороты *už je v lůně Abrahámově* и *vidět, spatřit Abraháma*, которые и авторами словаря квалифицируются как книжные), с другой — стилистически дифференцировать три приводимых польских сравнения. Кстати сказать, польская часть словаря стилистически вообще не квалифицируется, что снижает славистическую ценность словаря: для чешского читателя, интересующегося польской фразеологией, он в этом смысле «ущербен». Особо это бросается в глаза, когда стилистический перепад между чешским оборотом и польским эквивалентом очень велик, например, чеш. *sedět jako plaska* сидеть неподвижно, букв. сидеть как лешка, передаваемое польским оборотом *siedzieć jak mumia*. Этот перепад не устраняется даже стилистической пометой у чешской ФЕ «(экспрессивно)». Ср. также *být dutý [jako bambus]* — польск. *nie umieć [ani] w żąd* (с. 13).

Стилистическая неравноценность польских эквивалентов вообще является, пожалуй, слабым местом словаря. Такая стилистическая дисгармония может привести к серьезным семантическим смещениям. Например, оборот *vzít oči do hrsti*, который примерно соответствует русск. *смотреть в оба, разуть глаза*, передается польским эквивалентом *obejrzeć coś pod lupą* «рассмотреть что-либо под лупой» (с. 77); *zjso, конечно, можно говорить лишь об оборотах одного семантического поля, но никак не о межъязыковых фразеологических синонимах (resp. эквивалентах).*

Из других недостатков словаря можно отметить лишь частные. Так, вопреки уже упомянутому принципу отбора материала, в словарь вошли и некоторые обороты, не являющиеся собственно ФЕ. Иногда, правда, крайне редко — в корпус словаря попадают пословицы (например, *Když se káci les, lítají třísky* «Лес рубят, щепки летят» на с. 129). С другой стороны, в словаре немало синтаксически связанных лексем, которые сами не образуют ФЕ, а могут быть признаны самостоятельными словами: *lepit se na něko* «липнуть к кому-либо» (с. 129), *to není marné* «это не напрасно» (с. 136), *vzal si xantipi* «он женился на злой женщине» (с. 294), *to jsou žvásty* «это пустая болтовня» (с. 134) и др. Такие мнимые ФЕ занимают место тех идиом, которые могли бы пополнить словарь. Не всегда оправдан и порядок расположения материала: оборот *mit ještě skořárku na zedečce помещен, например, под словом zedeček* (с. 296), хотя в соответствии с принципами, выработанными составителями, его следовало бы дать на компонент *skořárka*. Имеется и ряд опечаток, которые, впрочем, во многом учтены в списке, прилагаемом к словарю.

Труд М. Басая и Д. Ритель — первый опыт составления чешско-польского фразеологического словаря. И, несмотря на некоторые недочеты, естественные для любого лексикографического начинания — опыт несомненно удачный и полезный. Сейчас авторы приступили к работе над большим чешско-польским словарем, который не только включит большее число ФЕ, но и отразит эти единицы с контекстными иллюстрациями. Хотелось бы пожелать польским коллегам успеха в осуществлении этого замысла.

Мокиенко В. М.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Zaorálek J.* Lidová rčení. Praha, 1947.
2. *Martínková M.* Rusko-český frazeologický slovník. Praha, 1953.
3. *Бушуй А. М.* Лексикографическое описание фразеологии. Самарканд, 1982.
4. *Мокиенко В. М.* Рец. на кн. *Slovník spisovného jazyka českého*, 1—4. Вопросы языкознания, 1972, № 6, с. 132—137.

² Подробнее см. в нашей рецензии на этот словарь [4].

Книга Е. И. Федосовой посвящена одной из важных проблем европейской политики конца XVIII — начала XIX в. — так называемому польскому вопросу, возникшему вследствие раздела Речи Посполитой между Пруссией, Австрией и Россией. В первой главе рассматривается политика Наполеона в польском вопросе в период военной кампании 1806—1807 гг. и тильзитских переговоров 1807 г., приведших к созданию герцогства Варшавского. Вторая глава содержит анализ политики Наполеона в польском вопросе в 1807—1809 гг., третья — соответственно в 1810—1814 гг. Бросается в глаза, что структура исследования не вполне соответствует периодизации, предложенной самим автором в заключении книги (с. 161—168).

Е. И. Федосова опиралась на широкий круг разнообразных источников, как опубликованных, так и хранящихся в архивах СССР и Франции. Автор показывает, что Наполеон допускал возможность восстановления польского государства лишь постольку, поскольку оно должно было оставаться в полной зависимости от Франции, и лишь настолько, насколько это способствовало мобилизации военных, экономических и моральных ресурсов польского общества на борьбу за французские интересы. Развенчание «наполеоновской легенды», усердно культивировавшейся польской и французской буржуазной историографией, безусловная заслуга Е. И. Федосовой, вывод которой заключается в следующем: «В своей политике по отношению

к Польше Наполеон всегда исходил из того значения, которое в каждый момент приобретал польский вопрос в решении его главной задачи — достижении господства в Европе» (с. 169).

Не кажется убедительным утверждение автора, что Наполеон пытался опереться в Польше преимущественно на магнатов (с. 164). Его политика в подчиненных странах, в том числе и в Польше, была сложнее, так как, обслуживая имперские притязания бонапартизма, она тем не менее была генетически связана с буржуазно-демократическими традициями Французской революции.

Нельзя не пожалеть о том, что в книге практически отсутствует историографический и источниковедческий очерки и не всегда отчетливо прослеживается связь наполеоновской политики в Польше с проблемой не только франко-русских, но и франко-австрийских, франко-пруссских и франко-английских отношений. Некоторые оценки, высказанные мимоходом, вызывают сомнение, например, утверждение, что после поражения востания Т. Костюшки польская шляхта «все свои надежды возложила на иностранную помощь и международные комбинации» (с. 14). Встречаются неточности в переводах (с. 154, 159).

В целом книга Е. И. Федосовой в значительной мере пополняет знания в области международных отношений в Европе наполеоновского времени и истории польского народа.

Дмитриев М. В.

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ О ПАМЯТНИКАХ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ ЮЖНЫХ СЛАВЯН

За истекшее десятилетие оживился интерес исследователей средневекового искусства к росписям, украшающим многочисленные культовые сооружения на Балканах. Ряд фресковых циклов, давно освещенных в специальной литературе, был подвергнут умелому реставрационному раскрытию и в результате этого предстает ныне в новом свете. Это способствовало появлению монографических работ, охватывающих довольно широкий круг стенописей, от рубежа X—XI до XVII вв. включительно.

В нашей научной критике, к сожалению, не получила своевременного отклика вышедшая в серии «Культурно-историческое наследие во СР Македонија» (XIII) книга П. Мильковича-Пепека «Комплекс церкви в Водоче» [1]. Это исследование детально освещает все предыдущие этапы в изучении церкви и дает максимально полное представление об археологическо-архитектурных исследова-

ниях, проведенных в 1961—1974 гг. Особый интерес представляют итоги обследования фрагментарно сохранившихся росписей. Древнейшие из них принадлежат концу X в., более поздние датированы около 1037 г. и рубежом XI—XII вв. Небольшой кусок штукатурки с частично сохранившимся изображением, выполненный в весьма экспрессивной манере, может быть сопоставлен с обломками фресок Десятинной церкви в Киеве, выполненных до 996 г. [2, 3]. Равным образом и фрески, датируемые приблизительно 1037 г., находят иконографические и стилистические аналогии в Софии Киевской. Это обстоятельство побуждает с большим вниманием отнестись к тезису о киево-южнославянских культурных связях, аргументированному в работах Н. П. Сычева. При изучении водочских фресок П. Милькович-Пепек продемонстрировал поистине ювелирный метод, позволивший ученому, располагавшему

в большинстве случаев лишь фрагменты, реконструировать иконографию и даже общую систему росписей. В книге подвергнуто анализу также общее состояние комплекса, объединяющего церкви VII—IX вв. (обновлена в конце X в.) и первой половины XI в. Книга о Водоче может служить примером научного, тщательного системного изучения памятника. П. Мильковичу-Пешеку принадлежит также ряд исследований о других фресковых циклах в Македонии, опубликованных в сборниках [4—7].

Объемная монография бельгийской исследовательницы Л. Хадерман-Мисгвич посвящена фрескам небольшой церкви в Курбиново (Македония) выполненным в 1191 г. [8]. Этот ключевой памятник позднеримской монументальной живописи в книге не только подвергнут тщательнейшему анализу, но и представлен на широком фоне явлений, характеризующих художественную жизнь Византии около 1200 г. Подробно рассмотрены иконографическая программа алтарной части, праздничный цикл и другие композиции и изображения, а также орнаментика. Особое внимание уделено стилю и технике исполнения, моделям художественных форм и индивидуальным манерам письма. Последний раздел монографии отведен сопоставлению курбиновских росписей с фресками в Кастории. В итоге кропотливого разностороннего анализа цикла фресок церкви в Курбиново, проведенного Л. Хадерман-Мисгвич, становится более определенным его место среди аналогичных по стилю византийских росписей.

Изданные в течение нескольких последних лет в Болгарии монографии, посвященные отдельным памятникам, образуют серию, выпускаемую софийским издательством «Български художник» — «Памятники на старата българска монументална живопис». В нее входят книги, интересные по своим материалам и написанные на высоком профессиональном уровне. Со временем эта серия, по-видимому, охватит все сохранившиеся циклы фресок на территории Болгарии.

Входящая в эту серию книга М. Цончевой «Церковь святого Георгия в Софии» [9] посвящена одному из самых сложных для изучения циклов росписей. В софийской церкви-ротонде, возведенной римлянами в IV в. и неоднократно подвергавшейся перестройкам в эпоху средневековья, сохранилось три слоя фресок, которые соответственно датируются X, XI—XII и XIV вв. Указанные обстоятельства обусловили включение в книгу М. Цончевой главы, рассматривающей эту церковь как архитектурный и археологический памятник. Наиболее насыщена материалом вторая глава, содержащая результаты многолетних исследований автором фресок, сильно попорченных, а местами совсем уничтоженных. Как установила М. Цончева, самый ранний слой росписей, позднеантичный, относился к VI в. (его весьма незначительные остатки есть в северо-западной нише). От фресок X в., состоящих из двух фризов, фрагментарно сохранились фигуры шести летящих ангелов, а также одна голова ангела,

принадлежащая к числу лучших примеров монументальной византийской живописи эпохи послееконоборческого неоклассицизма; в нижнем фризе, где в простенках окон барабана купола были представлены 16 пророков, частично уцелели фигуры лишь трех. Вторая роспись ротонды относится к XII в. Она выполнена по новой штукатурке, положенной поверх предыдущих фресок, поверхность которых была предварительно покрыта насечками (изображения пророков). В XIV в., после обвала купола, вскоре восстановленного, появилась еще одна роспись, уже на новой кладке (изображение Паптократора с ангелами, евангелистов и пророков). Она по иконографии и стилистическим признакам представляет характерное произведение эпохи Палеологов. Анализируя фрески в третьей главе своей книги, М. Цончева наиболее высокую оценку дает раннему слою стенописей X в. Четвертая глава, написанная совместно с И. Дуйчевым, посвящена греческим и славянским надписям. В последней, пятой, — представлена история сооружения. При написании книги автором привлечен обширный круг разнообразных источников. О последовательности выполнения фресок писал также Л. Прашков [10].

Э. Бакалова, вслед за выпущенной ею книгой о стенописях церкви с. Беренде [11], издала обстоятельную монографию «Бачковская церковь-гробница» [12], которая уже была рассмотрена в специальной рецензии [13]. Наиболее существенную часть этого исследования представляет раздел, в котором раскрыто идейное содержание стенописей. Большое внимание уделено также стилистическим проблемам. Принимая во внимание усиление линейной стилизации, характерное для компановской живописи второй половины XII в., Э. Бакалова определяет время выполнения росписей церкви-гробницы Бачковского монастыря непосредственно вслед за созданием фресок в Нерези (1164) и, во всяком случае, до конца XII в. Этот вывод в сущности не противоречит датировке А. Н. Грабара серединой XII в., а также сделанному им же отождествлению упомянутого в ктиторской надписи иеромонаха Неофита с иеромонахом Бачковского монастыря, жившим в середине XII в. Один из разделов книги отведен стенописям XIV в., относящимся к эпохе царя Ивана Александра. Книгу отличают высокий методологический уровень, внимательное отношение как к предмету исследования, так и к данным исторических источников.

Исследование Л. Мавродиновой «Земская церковь» [14] является первой обстоятельной публикацией этого замечательного памятника болгарской монументальной живописи XIV в. Небольшая по размерам церковь украшена росписями, которые в 1920-е годы уже были тщательно описаны в книге А. Н. Грабара [15]. В 1964 г. во время реставрационных работ были открыты фрагменты первого слоя живописи в проходе из алтаря в диаконик; в процессе реставрации храма в 1970—1974 гг. они были выявлены и в других частях сооружения. Этим фраг-

ментарно сохранившимся росписям, отнесенным ко второй половине XI в., посвящен раздел книги, основное содержание которой составляют фрески второго живописного слоя. Л. Мавродинова прослеживает их распределение, дает описание и разбор иконографических схем, раскрывает внутренний смысл. Иконографические схемы восходят к различным источникам, причем преобладают восточнохристианские модели. Наиболее яркие черты иконографии Земенской церкви получили объяснение уже в статье А. Н. Грабара, напечатанной до выхода его большой книги о древнеболгарской живописи [16]. Л. Мавродиновой приведены дополнительные наблюдения. Исходя из декоративной системы фресок, автор книги находит наиболее правильным датировать земенские росписи второго живописного слоя первой четвертью XIV в. Интересно освещены в исследовании ктиторские портреты, а также стилистические особенности этого памятника, занимающего совершенно особое место в средневековой балканской живописи. Близкие памятникам конца XIII в. Каппадокии, Эгейских островов, Южной Италии, земенские фрески представляют неофициальное, народное течение в средневековом болгарском искусстве, уходящее своими корнями в его более ранние пласты. К исследованию Л. Мавродиновой приложена статья Бонки Илиевой «Проблемы реставрации и консервации Земенской церкви».

Если книги болгарских исследователей средневековой монументальной живописи, вышедшие в 1960-е годы, были посвящены преимущественно памятникам XIV в. [17, 18], то в последнее время можно наблюдать усиление интереса к циклам росписей османского периода.

Исследование К. Паскалевой-Кабадаиевой «Церковь св. Георгия в Кремиковском монастыре» [19] рассматривает фрески, украшающие скромное однонефное бескупольное здание, возведенное в конце XV в. (до 1493 г.). Второй притвор этой церкви (экзонартекс) был пристроен в 1611 г. В кремиковских росписях, выполненных около 1493 г., исключительный интерес представляет группа ктиторских портретов. Наос храма украшен сокращенным циклом праздников и страданий Христа; в росписи притвора преобладают изображения подвижников, характерные для монастырских церквей этого типа. Как отмечает К. Паскалева-Кабадаиева, лейтмотивом росписей является тема заступничества, получившая выражение в изображении патрона церкви св. Георгия, в циклах из жизни Христа и Богоматери. Индивидуальные отличия в манере письма приводят исследовательницу к выводу о выполнении фресок четырьмя мастерами. Росписи оценены автором как замечательный памятник искусства, показательный для позднего средневековья на Балканах.

Сельская церковь в с. Марица, которой посвящена книга А. Чилингирова [20], построена в последней трети XVI в. Это однонефная постройка, типичная для храмовой архитектуры западной части Балканского полуострова конца XVI —

начала XVII в. Храм украшен разновременными стенописями. Наиболее ранние, покрывающие западный фасад и апсиду, выполнены непосредственно по завершении строительства. Они отличаются сильной экспрессией и каллиграфической манерой письма, более обычной для произведений станковой живописи. Основная часть росписей, расположенных в три яруса, датируется периодом между 80—90-ми годами XVI в., до начала австро-турецкой войны 1593—1606 гг. В исследовании А. Чилингирова большое внимание уделено иконографическим особенностям фресок и их истокам, иногда связанным с древними художественными традициями, восходящими к искусству докнонборческого времени. В стилистических особенностях, отличающихся подчеркнутыми декоративностью и эмоциональной насыщенностью, автор книги видит проявление непосредственности художественных образов. Одновременно А. Чилингиров отмечает новую линию эволюции позднего средневекового искусства Болгарии — увеличение роли бытовизма и народного творчества с его богатой фантастикой. Один из разделов книги отведен стенописям XIX в., украшающим большую западную пристройку. Исследование ценно своей многоплановостью, а также учетом наблюдений, сделанных при реставрации росписей в 1961—1970 гг.

Книга Л. Прашкова «Церковь Рождества Христова в Арбанаси» [21] посвящена весьма сложному циклу росписей XVII в. Это обстоятельство, по-видимому, обусловило включение в исследование раздела «Живопись в Болгарии с XV до конца XVII в.» [21, с. 7—36], в котором очерчены пути развития изобразительного искусства в указанный период. Вместе с работами югославских ученых С. Радойчича [22] и С. Петковича [23] данный очерк в монографии об арбанасских фресках делает более полной общую картину эволюции живописи на Балканах в первые столетия османского владычества. Село Арбанаси находится рядом с Велико-Тырново — столицей Второго болгарского царства (1186—1396). Церковь Рождества Христова в юго-западной части села — самая старая и самая обширная среди сохранившихся семи арбанасских церквей. Украшающие ее стенописи выполнены на средства местных ктиторов в 1632, 1638, 1643, 1649 и 1681 гг., как об этом свидетельствуют сохранившиеся надписи храма. Но, как пишет Л. Прашков, сложный лабиринтный план храма и наличие под росписью XVII в. старого слоя фресок, наряду с различиями в кладке и другими особенностями, говорят о разновременности отдельных частей сооружения. В ходе недавних реставрационных работ была обнаружена роспись второй половины XVI в. (в наосе). Паперты и галерея с приделом были пристроены и расписаны в первой половине XVII в., после чего все сооружение было еще раз расписано, в 1681 г. Автор книги тщательно анализирует традиционную систему росписей храма и обширные циклы со сложными сюжетами в паперти (Акафист Богоматери, Страшный суд, Древо Иессево), рассматривает тематическое и стиливое разнообразие

фресок галереи (вселенские соборы, композиции из жизни Богоматери, Шестоднев, иллюстрации к Псалтири). Ценным историческим источником по истории росписей являются ктиторские надписи. Паперть придела украшает Менологий. Особый интерес представляют фрески галереи и придела Иоанна Предтечи, отличающиеся наиболее высоким профессиональным уровнем. Небольшой раздел книги отведен деревянной резьбе XVII—XVIII вв. Статья В. Герасимовой-Томовой посвящена надписям в арбанасских стенописях, классифицированным, в зависимости от их содержания, на три группы (сопроводительные, ктиторские и содержащие библейские тексты и молитвы). Эти надписи на греческом языке, особенно датированные, можно рассматривать как ценное дополнение к работе Н. Муцопулоса [24]. Определяя значение стенописей церкви Рождества Христова в Арбанаси, Л. Прашков подчеркивает, что этот памятник отражает общее состояние болгарского искусства XVI—XVII вв. и одновременно заполняет некоторые хронологические пробелы в истории его развития.

Еще один цикл болгарских росписей XVII в. получил освещение в монографии Е. Флореовой «Церковь Ильи Пророка в Бобошево» [25]. Небольшая трикопная церковь на берегу Струмы расписана в 1678 г. Ее декоративная система отличается оригинальностью и некоторыми отклонениями от традиционной схемы. Фрески исполнены двумя болгарскими живописцами, обращавшимися к художественному наследию болгарского средневековья и раннего периода османского владычества. Как отмечает автор книги, стилистические особенности церкви в Бобошево не находят близких параллелей в других болгарских стенописях XVII в., отличающихся большим разнообразием. Однако исследовательница находит возможным сопоставлять эти фрески с росписями кладбищенской церкви в Бобошево, трапезной Бачковского монастыря, а также церкви Св. Славского монастыря. Они отличаются сочетанием старых и новых форм. В книге приведены характеристика пигментов и тексты славянских и греческих надписей.

Все монографии, входящие в серию «Памятники на старата българска монументална живопис», имеют резюме на русском, английском, французском и немецком языках. Издание этих книг, посвященных отдельным памятникам, несомненно, будет способствовать их обстоятельному изучению. К указанным исследованиям отчасти примыкает опубликованная на болгарском и немецком языках книга И. Дуйчева «Древнеязыческие мыслители и писатели в староболгарской живописи» [26], содержание которой нами было рассмотрено [27]. Вместе с общими работами по истории древнеболгарского искусства [28, 29], в которых представлены стенописи, отмеченные книги значительно расширяют наши знания о творчестве художников, составляющем неотъемлемую часть истории болгарской культуры.

Луцко В. Г.

1. *Миљковиќ-Пенек П.* Комплексот цркви во Водоча. (Дел од проектот за конзервација и реставрација на водочкиот комплекс). Скопје, 1975.
2. *Сычев Н. П.* Древнейший фрагмент русско-византийской живописи.— *Seminarium Kondakovianum*, II. Praha, 1928, s. 90—104.
3. *Каргер М. К.* Древний Киев. Т. II. М.—Л., 1961, табл. XI.
4. *Миљковиќ-Пенек П.* За некои нови податоци од проучувањата на црквата Св. Богородица во с. Велуса.— *Культурно наследство*, III. Скопје, 1969, с. 147—160.
5. *Миљковиќ-Пенек П.* Новооткриени архитектурни и сликарски споменици во Македонија од XI до XIV век.— *Культурно наследство*, V. Скопје, 1973, с. 5—18, сл. 1—39.
6. *Миљковиќ-Пенек П.* Црквата Свети Пантелејмон во селото Нерези.— *Споменици за средновековната и новата историја на Македонија*, I. Скопје, 1975, с. 89—94.
7. *Миљковиќ-Пенек П.* Црквата Св. Никита во Скопска Црна Гора како историско-уметнички споменик.— *Споменици за средновековната и новата историја на Македонија*, I. Скопје, 1975, с. 379—386.
8. *Hadermann-Misguich L.* Kurbinovo. Les fresques de Saint-Georges et la peinture byzantine du XII^e siècle, I—II. Bruxelles, 1975.
9. *Цончева М.* Църквата Свети Георги в София. София, 1979.
10. *Прашков Л.* Етапите на стенописите в църквата «Св. Георги» в София в светлината на проблема за традицијата и новаторството.— В сб.: *Традиција и нови черти в българското изкуство*. София, 1976, с. 41—52.
11. *Бакалова Е.* Стенописите на църквата при село Беренде. София, 1976.
12. *Бакалова Е.* Бачковската костница. София, 1977.
13. *Луцко В. Г.* Е. Бакалова. Бачковската костница.— *Советское славяноведение*, 1980, № 2, с. 114—115.
14. *Маеродинова Л.* Земенската църква. София, 1980.
15. *Grabar A.* La peinture religieuse en Bulgarie. Paris, 1928, p. 183—223.
16. *Grabar A.* «До-история» болгарской живописи. (Археологическая гипотеза).— В кн.: *Сборник в честь на В. Н. Златарски*. София, 1925, с. 569—572.
17. *Бичев М.* Стенописите в Иваново. София, 1965.
18. *Панайотова Д.* Болгарская монументальная живопись XIV в. София, 1965.
19. *Паскалева-Кабадашева К.* Църквата «Св. Георги» в Кремиковския манастир. София, 1980.
20. *Чилингиров А.* Църквата «Св. Никола» в село Марица. София, 1976.
21. *Прашков Л.* Църквата «Рождество Христово» в Арбанаси. София, 1979.
22. *Радојчић С.* Једна сликарска школа из друге половине XV в. Прилог историји хришћанске уметности под

- Турцима.— Зборник за ликовне уметности, I. Нови Сад, 1965, с. 67—104.
23. *Петковић С.* Зидно сликарство на подручју Пејке патријаршије. 1557—1614. Нови Сад, 1965.
24. *Moutsopoulos N.* La morphologie des inscriptions byzantines et post-byzantines de Grèce.— Cyrillomethodianum, III. Thessaloniki, 1975, p. 53—105.
25. *Флорева Е.* Црквата «Пророк Илија» в Бобошево. Софија, 1978.
26. *Дуйчев И.* Древноезически мислители и писатели в старата българска живопис. Софија, 1978.
27. *Луцко В. Г.* Иван Дуйчев. Древноезически мислители и писатели в старата българска живопис.— Советское славяноведение, 1981, № 2, с. 110—112.
28. История на българското изобразително изкуство, I. Софија, 1976.
29. *Tschilingirov A.* Christliche Kunst in Bulgarien. Berlin, 1978.



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МАИРСК «СЛАВЯНСКИЕ КУЛЬТУРЫ И МИРОВОЙ КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЦЕСС» (28 IX—1 X 1982, г. Минск)

Конференция была организована Международной ассоциацией по изучению и распространению славянских культур, Академией наук БССР, Институтом искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР, Комиссией БССР по делам ЮНЕСКО. Она синтезировала научные результаты и организационный опыт проведенных ранее конференций по программе Славянского проекта ЮНЕСКО и МАИРСК — таких как «Гуманистическое и общественное значение славянских литератур» (Варшава, 1972), «Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций (XVIII—XIX вв.)» (Москва, 1974), «Славянские культуры и Балканы» (Варна, 1976), «Славянские культуры в истории европейских культур (XVIII—XX вв.)» (Берлин, 1976), «Современные славянские культуры: развитие, взаимодействие, международный контекст» (Киев, 1979). Конференция в Минске имела итоговый характер. В плане же рассмотренных проблем и состава участников она может быть охарактеризована как комплексная. На пленарном заседании, на заседаниях трех секций и в дискуссиях за двумя «круглыми столами» было заслушано 150 докладов и выступлений более чем 200 ученых и деятелей культуры из 22 стран — членов ЮНЕСКО, и уже это делает невозможным дать в небольшой заметке полную картину столь широкого научного форума. Поэтому здесь мы остановимся лишь на основных моментах работы Минской конференции. Значительным подспорьем для этого явились опубликованный в канун конференции Минским издательством «Наука и техника» том «Славянские культуры и мировой культурный процесс. Тезисы докладов и сообщений», а также

итоговые выступления на заключительном заседании конференции руководителей секций и «круглых столов». Сразу отметим, что более полное представление о конференции читатель сможет получить после выхода в свет ее трудов. Подготовительная работа в этом направлении уже ведется.

С докладом «Методологические проблемы комплексного изучения истории культуры славянских народов» на пленарном заседании выступил президент МАИРСК, член-корр. АН СССР Д. Ф. Марков. По мнению докладчика, отправным пунктом в изучении культуры является принцип ее исторической (диахронной) и синхронной (структурной) типологии, в котором заложены основы подлинно научного подхода к культуре; он позволяет увидеть различные ее типы в историческом развитии общества, их внутреннюю дифференциацию, общность и национальную специфику, проявляющуюся в многообразных национальных формах. На основании этой фундаментальной методологической посылки Д. Ф. Марков анализирует смену типов культур при переходе от феодализма к капитализму; в свою очередь, в XX в. сформировалась культура нового типа — социалистическая, которая утвердилась как глубоко новаторская прежде всего по восприятию мира, по характеру гуманизма, по принципам изображения нового человека. Затем был заслушан доклад Г. Роте (ФРГ) «Основные этапы культурного процесса у славян в соотношении с развитием мировой культуры». Оценивая вклад славянских народов в мировую культуру, он считает, что славяне до XX в. четырежды достигали чрезвычайно высокого уровня в развитии собственной культуры, которая, в свою

очередь, оказывала влияние на Западную Европу: 1) в IX в., в лице так называемых «славянских апостолов»; 2) в XIV в. через древнечешскую литературу; 3) во время Ренессанса в XVI—XVII вв. через культуру поляков и хорватов; 4) в XIX в. через русский, польский, чешский и сербский романтизм. Заключил заседание доклад С. В. Марцелева (БССР), в котором рассмотрены проблемы изучения современной культуры Белоруссии и путей ее развития.

Доклады и сообщения, заслушанные на заседаниях первой секции «Славянские культуры в древности и в эпоху средневековья», охватывали круг таких проблем, как: славянская культура дописьменной эпохи и ее место в древнейшей мировой культуре; древнейшие истоки народного искусства славян; византийская культура и славяне; становление кирилло-мефодиевской традиции в славянских литературах; романская и готическая культура на славянской почве. Констатируя тот факт, что в последнее время сильно возрос интерес к мифологическим аспектам древней славянской духовной культуры и последующей народной традиции, Н. И. Толстой в качестве исходной гипотетической системы для работы по их реконструкции предлагает систему праязыка — праславянского и индоевропейского, имеющего и грамматическую, и лексикологическую научную фиксацию. Сравнительная славянская мифология, фольклористика и этнография в сочетании с лингвистикой и историей могут создать подробную, структурно достаточно осложненную модель и приближенное описание славянской культуры. В свою очередь В. В. Иванов, рассматривая проблему реконструкции славянской духовной культуры дописьменной эпохи по лингвистическим данным, считает возможным не только выявление полного набора всех основных понятий, характерных для духовной культуры и зафиксированных в соответствующих ключевых словах праславянского словаря, но и обнаружение особенностей функционирования каждого из слов в реконструируемых праславянских текстах. Эти ключевые понятия и слова входят в бинарную структуру, описывающую мир в терминах двоичных противопоставлений.

Народным истокам славянского искусства посвящены были выступления О. В. Трещатова и Ю. Ф. Ходыко (БССР) «Ранние фресковые росписи на территории Белоруссии (XI—XII вв.)», доклады

ученых из ФРГ — Ф. Шольца «Литовские и белорусские народные песни» и Э. Гёша «Традиции и преобразования в московской культуре XVI в.». Говоря о культурном облике славян по данным византийских авторов VI—IX вв., Г. Г. Литаврин разграничивает свидетельства, посвященные славянам специально, и сообщения чисто фактологические, лишенные обобщений и порой лишь косвенно связанные со славянами. Докладчик дал развернутую аргументацию выдвинутой им гипотезы, согласно которой социальная верхушка «варваров», в ходе длительной конфронтации славян и других народов, выработала собственную идейную позицию, суть которой состояла в непризнании прав «греков» на обладание «римским наследством».

Д. Богданович (СФРЮ) посвятил свое выступление рассмотрению кирилло-мефодиевской традиции в старой сербской литературе в контексте европеизации сербской культуры в средние века. В докладе Р. Олеша (ФРГ) «Кирилло-мефодиевские традиции в древнеполабском языке» отмечается, что немецкие языки или другие языки через посредство немецкого оказали многостороннее влияние на полабский язык, причем к самым ранним культурным влияниям относится влияние Византии. Предметом обсуждения являются кирилло-мефодиевский и предкирилло-мефодиевский языковые пласты. И, наконец, в числе последней группы докладов, раскрывающих взаимодействие романской, готической и славянских культур, следует назвать доклады Я. Шлёнского (ПНР) «Италияно-южнославянские литературные связи в XVI в.» и П. Мийович (СФРЮ) «Византийское, романское и готское искусство в культурном наследии Черногории». Следует отметить, что в ходе работы первой секции участники ее обменялись мнениями по ряду принципиальных вопросов, в том числе по вызвавшему дискуссию вопросу периодизации культурного процесса у славян и характеристике его основных этапов.

На заседаниях второй секции «Славянские культуры Нового времени» был рассмотрен следующий круг вопросов: философско-идеологическое и историко-культурное содержание переходной эпохи у славян (XVII—XVIII вв.); место и роль культуры в общественно-политическом развитии и освободительных движениях славянских народов; типология и взаимосвязи художественной культуры западноевропейских и славянских народов в XVIII—XIX вв.; национальная худо-

Жестянная классика славянских народов и ее вклад в мировую культуру. В силу специфики темы, все докладчики в той или иной степени касались этих вопросов.

Различные стороны процесса формирования национальных культур и вопросы культурных отношений рассмотрены в выступлениях В. И. Злыднева, Б. И. Краснобаева, И. И. Лещиловской, М. Шимчака (ПНР) и других. Говоря о формировании национальных культур и проблеме культурных отношений в XVIII—XIX вв., В. И. Злыднев отметил, что в связи с неравномерным развитием культуры, особенно в регионе стран Центральной и Юго-Восточной Европы, культурные отношения приобретают огромное значение, становятся — наряду с движением за национальное освобождение — важным фактором духовного и художественного прогресса. В докладе Б. И. Краснобаева «Русская культура второй половины XVII — начала XIX вв.» ставится вопрос о необходимости создания теории общения культур, разработки ее категориального аппарата, преодоления эмпиризма. В. А. Дьяков и В. И. Фрейдзон в своем выступлении выдвинули идею создания научно обоснованной типологической градации основных течений общественной мысли славянских народов и этапов ее развития.¹

Общеввропейской и славянской культуре эпохи Просвещения и их взаимодействию посвящены были доклады и сообщения Г. Цигенгайста (ГДР), А. С. Мыльников, С. Грачиотти (Италия), У. Лемана (ГДР), И. И. Свириды. А. С. Мыльников в докладе «Вклад славянских народов в формирование политических и эстетических концепций европейского Просвещения», акцентируя момент обратной связи, выявления форм воздействия культуры славянских народов на духовное развитие эпохи Просвещения, стремится обосновать тезис о прямом или косвенном воздействии народной культуры славян на европейскую просветительскую мысль. Затронутая в докладе У. Лемана «Гердер и славянские культуры» тема — утопия в эпоху Просвещения — пересекается с положениями доклада С. Грачиотти «Значение литературной утопии славянских стран в эпоху Просвещения», в котором выявляется зависимость данного типа литературы от степени распространения просветительских идеалов, воспринимаемых как «спасительные».

Третья, наиболее многочисленная группа докладов была посвящена литературе,

искусству и архитектуре славянских народов, определению их вклада в мировую культуру: С. Вуйчич (ВНР) «О формировании поэзии южнославянских народов на рубеже XVIII—XIX вв.», Б. Бялкович (ПНР) «Мицкевич в восточнославянских литературах», С. Стеффенсен (Дания) «Гете и Тургенев», Л. А. Софронова «Школьный театр — посредник между культурой Западной и Восточной Европы (XVII — первая половина XVIII в.)», Е. И. Кириченко «Пути развития зодчества славянских народов в Новое время», С. Мосаковский (ПНР) «Польская художественная культура до конца XVIII в.» и другие. И, наконец, фольклористика и этнография были представлены докладами В. К. Бондарчика «Изучение культуры и быта белорусов славянскими учеными», М. М. Гайдая и В. А. Юзвенко (УССР) «Эпическое песенное творчество и освободительное движение славянских народов XVIII—XIX вв.», В. Бована (СФРЮ) «Лазарицкие песни народов Югославии в прошлом и настоящем».

На заседаниях третьей секции «Славянские культуры в XX веке» были рассмотрены следующие проблемы: художественный прогресс в XX веке; проблема продолжения реализма, общее и национально-специфическое в славянских культурах на современном этапе их развития; война и мир в современной культуре; гуманистическое единство культуры в XX веке: человек, природа, вселенная; научно-технический прогресс и культура; современные средства массовой коммуникации и проблемы взаимообмена культурными ценностями между славянскими и неславянскими народами.

В выступлениях участников освещалось развитие всех славянских культур и их взаимных связей со славянскими и неславянскими странами. Почти все докладчики широко привлекли произведения белорусских писателей В. Быкова, А. Адамовича и других. А. Макмиллин (Великобритания) прочел свой доклад о творчестве В. Быкова на белорусском языке. Подводя итог работы секции, один из ее руководителей, Е. З. Цыбенко отметила, что по своей тематике все доклады могут быть разделены на четыре группы.

Рассматривалось место культуры в современной общественной системе славянских народов (М. Б. Ешич); вопросы изучения национальной культуры в региональном и мировом контексте, чему посвятил свое выступление Г. Д. Вервес (УССР); социалистическая культура и прогрессивное наследие прошлого стали

предметом внимания Т. Розенбаума (ЧССР); значение средств массовой информации и роль ЮНЕСКО в распространении достижений славянских культур были показаны в выступлении И. В. Пименовой.

Во многих докладах нашла отражение проблема связи культуры с общественным движением, что, в частности, показал А. Стойков (Болгария) на примере Г. Димитрова и болгарской культуры.

Ряд выступлений был посвящен теме развития революционной литературы 20-х — 30-х годов, ее месту в формировании нового творческого метода. В качестве примера укажем на доклад С. В. Никольского «Новаторские черты художественной системы Я. Гашека (к 100-летию со дня рождения)».

В группе докладов и сообщений освещались методологические, тематические, а также конкретные вопросы историко-литературного развития славянских литератур последних десятилетий; в их числе: М. Новиков (СРР) «Вопросы гуманизма в художественной прозе славянских стран 70-х годов», С. А. Шерлаимова «Новое качество историзма в современных славянских литературах (на примере исторического романа)», М. Каспер (ГДР) «Общее и специфическое в современной серболужицкой литературе», Е. З. Цыбенко «Восприятие национальной литературы в инациональном контексте (польская литература и советский читатель)», Н. Нильссон (Швеция) «Русская советская литература в Швеции». Что касается наблюдений типологического характера, то этой теме в частности посвящен был доклад А.-К. Райта (Канада) «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова в свете работы Германа Гессе «Немного о теологии». И, наконец, еще одна большая литературоведческая проблема — значение литературного наследия для развития литературы XX в. Эту проблему рассмотрел в своем докладе Э. Дикман (ГДР) «Толстой и Достоевский и немецкий роман XX века», она же освещена и в докладе З. Константиновича (Австрия) «Художественное наследие Иво Андрича как посредник между славянским и неславянским миром». О проблеме соотношения живописи и литературы на примере творчества М. Крлежи говорил А. Флакер (СФРЮ) в докладе «Писатель в галерее (к вопросу о соотношении литературы и изобразительного искусства)».

Помимо секционных заседаний, участники конференции имели возможность

обменяться мнениями в ходе дискуссий, происходивших за двумя «круглыми столами».

Первый из них — «Классики белорусской литературы Я. Купала и Я. Колас в контексте славянских литератур», приуроченный к 100-летию со дня рождения этих выдающихся деятелей белорусской культуры, — открыл вступительным словом белорусский писатель И. П. Шамякин. Было заслушано 15 основных выступлений. В состоявшейся дискуссии, в которой приняли участие ученые СССР, БССР, УССР, ПНР и Великобритании, были обсуждены следующие проблемы: мировое значение литературного наследия Я. Купалы и Я. Коласа, национальные и общечеловеческие мотивы в творчестве классиков белорусской литературы, истоки и особенности их художественного метода, философские и общественно-политические взгляды, связи с литературами других народов. Были поставлены задачи дальнейшего изучения творческого наследия Я. Купалы и Я. Коласа, всемерной популяризации их творчества среди славянских народов и во всем мире.

Круглый стол «Культура Киевской Руси и мировой культурный процесс» был посвящен 1500-летней годовщине Киева. П. П. Толочко (УССР), подводя в своем выступлении на заключительном заседании конференции итоги дискуссий за «круглым столом», отметил, что они были посвящены трем главным темам: культуре Киевской Руси и ее столицы Киева; взаимодействию культуры Киевской Руси с культурами стран средневековой Европы; традициям культуры Киевской Руси в развитии русского, украинского и белорусского народов.

Результаты новых археологических и архитектурно-археологических исследований Киева, о которых сообщили П. П. Толочко и Ю. С. Асеев (УССР), позволили дать научно обоснованную модель Киева. В X—XII вв. Киев являлся одним из крупнейших городских центров Европы, застроенным срубными и фахверковыми, преимущественно двухъярусными домами, а также монументальными культовыми сооружениями. Богатые традиции деревянной архитектуры вместе с принесенными из Византии, а позже и из стран Западной Европы формами каменного зодчества, явились основой создания на Руси яркой самобытной архитектуры, характеризовавшейся пирамидальностью композиций и многоглавием.

Среди выступлений, раскрывавших взаимосвязи культуры Киева и Киевской Руси с культурами других народов, особый интерес представили сообщения Э. Доннерта (ГДР), Н. Нильссона (Швеция), А. И. Рогова, И. П. Мегелы (УССР), М. Шимчака (ПНР). Э. Доннерт, проанализировав известия Титмара Мерзебургского, Адама Бременского, Иоанна Гербиния и других средневековых авторов о Киеве, подчеркнул особую его роль в культурно-историческом процессе не только Восточной, но и Западной Европы. Н. Нильссон рассмотрел традиционные связи между Киевской Русью и Скандинавией, носившие, по его мнению, двусторонний характер. Это относится как к экономическим (торговые договоры скандинавов на Руси и русских в Скандинавии), так и культурным контактам (русские церкви на Готланде).

О традициях культурных связей между славянскими народами, уходящими своими корнями в эпоху Киевской Руси, говорил С. Маркович (СФРЮ). Он подчеркнул особую роль Киева в развитии сербской культуры XVII—XIX вв., участие в ее культурном процессе многих выдающихся воспитанников Киево-Могилянской академии, в том числе и Михаила Козачинского, работавшего ректором одной из школ в Сербии. В этой академии наряду с русскими учились украинцы, белорусы, сербы, хорваты, черногорцы.

Тема «Киево-Могилянская академия и ее роль в развитии традиций культуры Киевской Руси» прозвучала также в выступлениях украинских ученых В. М. Ничик и В. А. Азархина. Языку Киевской Руси посвятил свое выступление М. Шимчак, подчеркнувший интегрирующее значение для всех восточных славян церковно-славянского языка, который, хотя и приподнят над народным, все же был к нему чрезвычайно близок. По мнению докладчика, он сохранял свое общеславянское значение вплоть до XV в.

Выдающийся памятник письменной культуры Киевской Руси — «Слово о полку Игореве» стал темой выступлений А. Н. Робинсона, а также В. С. Харитонова и Н. Н. Павлюка (оба — УССР). Остановившись на месте «Слова» в системе мирового эпического творчества, они подчеркнули его народность, идейную созвучность с великими литературными творениями других народов, например, пиренейской «Песней о моем Сиде». Ис-

тория переводов и интерпретаций «Слова» на всех славянских языках свидетельствует о том, что этот древнерусский литературный памятник и в наше время служит идее межславянского единения.

В выступлениях Г. В. Штыхова (БССР), Я. Д. Исаевича (УССР), Э. К. Дорошевич (БССР) говорилось о том, что древнерусское культурное наследие органически вошло в культуру русского, украинского и белорусского народов.

П. П. Толочко отметил, что главные итоги «круглого стола» сводятся к следующему: 1) Культура Киевской Руси развивалась в рамках общих закономерностей культурного процесса в Европе, в котором каждый народ участвовал собственными культурными традициями и обогащался достижениями других народов; 2) Киевская Русь, представляя собой контактную зону между арабским Востоком и Западной Европой, Византией и Скандинавией, испытала влияние их культур, но при этом ее культура не была результатом простого смешения различных культурных традиций; 3) Культура Киевской Руси, имевшая прямые генетические корни в культуре восточных славян предгосударственного периода, выдержала испытание временем. Она не погибла в результате ордынского нашествия, но стала той основой, на которой выросли культуры русского, украинского и белорусского народов.

В заключение добавим, что в период работы конференции, в соответствии с планом деятельности МАИРСК, состоялся ряд организационных и научно-организационных мероприятий. Было проведено совещание экспертов-специалистов по славянскому искусству. Они рассмотрели вопросы организации передвижной фотовыставки ЮНЕСКО по славянскому искусству. Состоялось заседание Генеральной ассамблеи Ассоциации, которая избрала руководящие органы МАИРСК. Президентом МАИРСК на новый срок переизбран Д. Ф. Марков. Ассамблея утвердила также план работы Ассоциации на ближайшие годы. В частности, на 1984 г. намечено провести в Копенгагене международную конференцию «Скандинавско-славянские культурные отношения в XIX—XX вв.», на 1985 г. — провести в Париже конференцию «Славянские народы в историко-культурном контексте Европы и Азии».

Ляткер Я. А.

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ В 1983 Г.

СТАТЬИ

Акимова О. А. К характеристике идейно-политических и исторических воззрений Фомы Сплитского	№ 3
Бегунов Ю. К. Сказания о черноокнижнике Твардовском в Польше, на Украине и в России и новонайденная «История о пане Твердовском»	№ 1
Будагова Л. Н. Социалистический реализм — диапазон многообразия Быстрицкий В., Деак Л. (ЧССР). Государства Центральной и Юго-Восточной Европы и проблема безопасности в 30-х годах	№ 6
Валева Е. Л. Сентябрьское народное восстание 1923 года и международное движение солидарности с антифашистской борьбой болгарского народа	№ 2
Варварина Е. Е. Эволюция образа героя-современника в болгарской прозе 60—70-х годов	№ 5
Вендина Т. И. К вопросу о корреляции славянских суффиксов	№ 2
Габовштякова К. (ЧССР). Источники лексического фонда словацкого литературного языка	№ 5
Гибианский Л. Я. Из истории становления новой Югославии (1941—1943)	№ 6
Глобачев М. О. Творчество Л. Шенвальда в 40-е годы	№ 6
Глотов В. И. Ленинское учение о партии нового типа	№ 5
Горина Л. Лекции по истории зарубежных славянских народов М. Дринова в Харьковском университете (1873—1906)	№ 6
Гранчак И. М. IX Всесоюзная научная конференция историков-славистов	№ 2
Гудимова С. А. Кароль Шимановский и традиции польской музыкальной культуры	№ 5
Дзедзелевский И. А. И. Н. Вагилевич как редактор словаря С. Б. Линде (К истории украинско-польских научных связей середины XIX в.)	№ 6
Задачи изучения проблематики развитого социализма	№ 6
Зеленин В. В., Карасев В. Г. Задачи историко-славистических исследований в свете решений XXVI съезда КПСС	№ 2
Зеленин В. В., Романов В. Е. Действия СССР на международной арене в поддержку югославского народно-освободительного движения	№ 4
Зеленина Э. И. Новые исследования болгарских ученых по народной духовной культуре	№ 2
Илюшин А. А. О силлабическом принципе в стихосложении	№ 6
Карасев В. Г. Первая буржуазно-национальная революция на Балканах (К вопросу о характере сербского восстания 1804—1813 гг.)	№ 3
Книшкин Л. С. О периодизации процесса литературных связей	№ 3
Клеванский А. X. Некоторые теоретические вопросы истории кризиса буржуазных политических систем в странах Центральной и Юго-Восточной Европы	№ 3
Копашева М. И. Общественно-политические и культурные связи СССР и Чехословакии в середине 30-х годов	№ 1
Костюшко И. Деятельность КПСС и ПОРП по укреплению советско-польской дружбы	№ 2
Кочегура П. А. Становление и развитие народного Войска Польского	№ 5
Левочкин И. В. Древнейший список пространного Жития Константина Философа	№ 2
Маковецкая Т. Ф. Издания трудов К. Маркса и Ф. Энгельса в Болгарии (до первой мировой войны)	№ 3
Мельников Г. П. Городское землевладение в Праге в первой половине XVII века	№ 3
Михутина И. В. Рабочее движение стран Центральной и Юго-Восточной Европы между первой и второй мировыми войнами	№ 2
Михутина И. В. Рабочее движение стран Центральной и Юго-Восточной	

Европы в борьбе против угрозы фашистской агрессии, за национальный суверенитет	№ 6
Невская Л. Г. Балто-славянская проблематика на международных съездах славистов	№ 5
Недорезов А. И. Изменения социальной структуры и культуры общества — важнейшие аспекты ленинского плана построения социализма	№ 1
Поскова А. Ф., Поп И. И. Становление системы договорных отношений СССР и стран народной демократии (1945—1949)	№ 4
Парсаданова В. К 40-летию создания Крайовой Рады Народовой в Польше	№ 6
Пащенко Е. Славянские мотивы в творчестве Владимира Назора	№ 1
Пащенко Е. «Политика» Ю. Крижанича как произведение литературы барокко	№ 5
Поп И. И. Советско-чехословацкий договор 1943 года и формирование нового внешнеполитического курса Чехословакии	№ 6
Прибылов В. Польша и проблема реорганизации Совета Лиги Наций в 1926 году	№ 1
Райнсберг Э. У. (ГДР). К вопросу о типологии аграрных преобразований в революциях 40-х годов в странах Центральной и Юго-Восточной Европы	№ 3
Саливон А. Н. Вильды-лютичи	№ 2
Свирида И. И. Художественная культура эпохи формирования наций как историко-культурная проблема (на материале стран Центральной и Юго-Восточной Европы)	№ 1
Серпинова Е. П. Проекты создания послевоенной чехословацко-польской конфедерации (1939—1941)	№ 3
Соболева Е. Б. Формы определения имени существительного в Добромировом евангелии	№ 2
Софронова Л. А. Проблемы художественного примитива на польской сцене XVII—XVIII веков	№ 3
Тарасов Б. Н. Политика Англии в отношении Югославии (июнь 1941 — ноябрь 1942 гг.)	№ 1
Удальцов И. И. Еще раз к характеристике политической деятельности Франтишка Палацкого (Историкографические заметки)	№ 6
Цамбел С. (ЧССР). Опыт Коммунистической партии Чехословакии в решении аграрно-крестьянского вопроса	№ 4
Чугаев В. П. Советский Союз и зарубежные славянские страны	№ 1

ИЗ ИСТОРИИ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

Венедиктов Г. К. К начальной истории славистической кафедры в Московском университете	№ 1
Иванов Ю. Ф. Ян Гус в советской послевоенной историографии	№ 5
Наумов Е. П. Юрий Крижанич в трудах академика В. И. Пичеты	№ 5
Никulina М. В. О состоянии и особенностях развития русского славяноведения в первой трети XIX века	№ 5
Франчук В. Ю. Из переписки М. Г. Халанского с А. А. Шахматовым	№ 1

К IX МЕЖДУНАРОДНОМУ СЪЕЗДУ СЛАВИСТОВ

Злыднев В. И. Типологическая близость культур западно- и южнославянских народов в эпоху формирования наций	№ 4
Орел В. Э. Проблемы языковых контактов и интерференции языков на IV—VIII съездах славистов	№ 4
Осипова М. А. Лексическая семантика и функциональные связи дистрибутивных глаголов (на материале современных русского и западнославянских литературных языков)	№ 4
Осипова Н. 90 лет румынской славистики	№ 4

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Белов В. О вариантах издания книги З. Орфелина о Петре Первом	№ 3
Гаврюшин Н. К. «Изборник Святослава» 1073 г. и «Диалектика» Иоанна Дамаскина	№ 4
Лабынцева Ю. А. Первая книга, напечатанная глаголицей и ее исследователь Михаил Бобровский (к 500-летию начала книгопечатания глаголическим шрифтом)	№ 4
Павлюченко О. В. «Русские клубы» в Сербии на рубеже XIX—XX веков	№ 4
Сурта Х. Ф. Стихотворение А. Э. Одынца и А. Мицкевича «Panicz i dziewczyna» на русском языке	№ 4

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Билунов Б. Н. Българското възраждане и Русия	№ 5
Богомолова Н. А. Г. Д. Вервес. Максим Рыльский в кругу славянских поэтов	№ 2

Вагапова Н. М. Н. Б. Яковлева. Современный роман Югославии	№ 1
Виноградова Л. Н. Трехтомник фольклористических трудов Ю. Кшижановского	№ 4
Дмитриев М. В. Е. И. Федосова. Польский вопрос во внешней политике первой империи во Франции	№ 6
Ермакова Д. А. Летопись важнейших событий советско-болгарских отношений дружбы и сотрудничества. 1944—1980 гг.	№ 1
Ильина Н. Славянское и балканское языкознание, вып. 6. Проблемы морфологии	№ 1
Калиганов И. И. Новая попытка реконструкции биографии Григория Цамблака	№ 1
Калынь Л. Э., Клепикова Г. П. А. Рес. Pregled srpskohrvatskih dijalekata	№ 3
Кишкин Л. С. D. Kšicová. Ruska poezie v interpretaci Františka Taborského	№ 1
Липатов А. В. Эпоха Просвещения и литература	№ 2
Л. К. I. Sedlák. Bohuš Nosák-Nezabudov	№ 5
Льобченко В. Г. J. Cesar, Z. Snitil. Československá revoluce 1944—1948	№ 1
Мельников Г. П. Формирование раннефеодальных славянских народностей	№ 1
Мигев В. л. (НРБ). Фашизм и антидемократические режимы в Европе. Начало 20-х годов — 1945 г.	№ 4
Мокиенко В. М. Чешско-польский фразеологический словарь	№ 6
Наумов Е. П. Вопросы социально-экономического развития балканских стран в межвузовских сборниках советских медиевистов	№ 2
Ольшанский П. Севостьянов П. П. Перед великим испытанием. Внешняя политика СССР накануне Великой Отечественной войны. Сентябрь 1939—июнь 1941 гг.	№ 1
Орел В. Э. Добрев И. Происход и значение на праславянското консонантно и дифтонгично склонение	№ 3
Пущко В. Г. Новые исследования о памятниках монументальной живописи южных славян	№ 6
Рогов А. И. Новая книга о школьном театре	№ 3
Саливон А. Н. Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья	№ 6
Титова Л. Dvojí osud. Dípisy Josefa Čapka, které v letech 1910—1918 pošilal své budoucí ženě Jarmile Pospisilové	№ 3
Титова Л. Н. Книга о культуре чешского национального Возрождения	№ 4
Улунян А. А. Н. Т. Сапронова. Великая Октябрьская социалистическая революция и учительское движение в Болгарии (1917—1923)	№ 2
Чернявский Г. И. Б. Григоров. По пътя на реформизма. Социалдемократията и борбите на трудещите се в България. 9 юни 1928—19 май 1934 г.	№ 3

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

В. М. Юбилей Ярослава Гашека	№ 5
Г. М., О. М. Целевой проект «Социальная структура и общественно-политические движения в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (середина XIX в.— 1918 г.)»	№ 5
Гусев В. Е. Фольклорно-литературные взаимосвязи (29 конгресс фольклористов Югославии)	№ 3
Зайцева С. В. Студенческая межреспубликанская научная конференция в Ленинграде (26—28 октября 1982 г.)	№ 5
Киклевич А. К. Научная конференция белорусских и болгарских языковедов	№ 3
Л. О. Заседания, посвященные научной деятельности К. Маркса	№ 5
Ляткер Я. А. Международная научная конференция МАИРСК «Славянские культуры и мировой культурный процесс» (28 IX — 1 X 1982, г. Минск)	№ 6
Наумов Е. В специализированном совете по защите докторских диссертаций при Институте славяноведения и балканистики АН СССР (по всеобщей истории)	№ 5
Обушеникова Л. А. О координационной работе по изучению формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе	№ 3

Problems of the Analysis of the Developed Socialism. *Gibiński L. Y.* From the History of the New Yugoslavia (1941—1943). *Parsadanova V.* In Commemoration of the 40th Anniversary of the Krajowa Rada Narodowa in Poland. *Pop I. I.* Soviet-Czecho-Slovak Treaty (1943) and the Formation of the New Czecho-Slovak Foreign Policy. *Mikhutina I. V.* The Working-Class Movement in Central and South-East Europe Against the Danger of the Fascist Agression and for the National Sovereignty. *Udal'tsov I.* Once More on the Nature of František Palacky's Political Activities. *Gorina L. M.* Drinov's Lectures in the History of Foreign Slavic Peoples in the University of Kharkov (1873—1906). *Budagova L. N.* Socialist Realism— the Multiform Scope. *Ilyushin A. A.* On the Syllabic Principle in Prosody. *Globachev M. O.* L. Shenwald's poetic works in 1940-es. *Habovštiaková K.* (Czecho-slovakia). The Sources of the Slovak Literary Vocabulary. *Dzendezevski I. A.* I. N. Vagilevič as an Editor of the Linde's Dictionary (On the History of Ukrainian-Polish Scientific Contacts in the Middle of the XIX Century) 3

REVIEW ARTICLES AND REVIEWS

Salivon A. N. Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. *Mokienko V. M.* The Czech-Polish Phraseological Dictionary. *Dmitriev M. V.* Е. И. Федосова. Польский вопрос во внешней политике первой империи во Франции. *Putsko V.G.* New Works on the Monumental Art of South Slavs 111

SCIENTIFIC LIFE

Latker Y. A. International Scientific Conference «Slavic Cultures and the World Cultural Process» Organized by the International Association for the Study and Dissemination of the Slavonic Cultures (Minsk, Sept. 28 — Oct. 1, 1982). *Zharkova N. K.* Session of the Scientific and Methodical Council Section 120
 Index of Articles Published in 1983 125

Технический редактор *Е. В. Синицына*

Сдано в набор 11.08.83 Подписано к печати 25.10.83 Т-15894 Формат бумаги 70×108^{1/16}
 Высокая печать Усл. печ. л. 11,2 Усл. в.р.-отт. 13,3 тыс. Уч.-изд. л. 13,0 Бум. л. 4,0
 Тираж 1153 экз. Зак. 3061

Издательство «Наука». 103717, ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
 2-я типография издательства «Наука». 121099, Москва, Шубинский пер., 10

Цена 1 р. 20 к.

Индекс 70891